



Иван Иванович Панаев

Очерки из петербургской ЖИЗНИ

Советским читателям известно имя Ивана Ивановича Панаева, автора "Литературных воспоминаний", замечательного образца русской мемуарной литературы XIX столетия. Но мало кто: знает в наше время другие произведения этого писателя — одного из талантливейших беллетристов и журналистов 1840- 1850-х годов.

Автор многочисленных очерков, рассказов и повестей, создавший реалистические картины русской жизни первой половины XIX века, ближайший помощник Некрасова по изданию журнала «Современник», мастер самых разнообразных журнальных жанров, — он навсегда связал себя с лучшими представителями русской общественной мысли и литературы — Белинским, Некрасовым, Чернышевским. Произведения Панаева представляют для советского читателя не только историко-литературный, познавательный интерес, но и живое, увлекательное чтение.

Содержание

ГАЛЕРНАЯ ГАВАНЬ0005
ИМЕНИННЫЙ ОБЕД У ДОБРОГО ТОВАРИЩА	0065
СЛАБЫЙ ОЧЕРК СИЛЬНОЙ ОСОБЫ0079
ПЕТЕРБУРГСКИЙ ЛИТЕРАТУРНЫЙ	
ПРОМЫШЛЕННИК0115
БЛАГОНАМЕРЕННЕЙШИЙ ГОСПОДИН0140
ВНУК РУССКОГО МИЛЛИОНЕРА Листки из моих петербургских воспоминаний0170
I0170
II0186
III0203
IV0221
V0235
VI0250
VII0263
VIII0277
IX0294
X0309

**Иван Иванович Панаев
Очерки из петербургской
жизни**

ГАЛЕРНАЯ ГАВАНЬ

"Сытый голодного не разумеет" — прекрасная и очень умная пословица.

Справедливость ее подтверждается в жизни на каждом шагу. Я недавно думал об этом, возвращаясь из Галерной гавани...

— Что такое это Галерная гавань? — быть может, спросит меня не только иногородный, даже петербургский читатель.

Вы желаете знать, что такое Галерная гавань? Неужели вы никогда не слышали этого имени, — вы, петербургский житель? Галерная гавань — частичка громадного и великолепного города, в котором вы живете и наслаждаетесь, далеко у взморья, на самом конце Васильевского острова, по соседству со Смоленским кладбищем; ненадежный приют самого бедного петербургского народонаселения, о существовании которого вы только подозреваете — того народонаселения, которое замирает от страха при малейшем возвышении воды и рискует быть потопленным всякий раз, когда в серый осенний день воет ветер, раздастся зловещий звук пушек, днем

развешаются флаги на Адмиралтейской башне, а ночью зажигаются роковые фонари. Вы, живущие в лучшей и возвышенной части Петербурга, окруженные всеми прихотями той утонченной цивилизации, которая с каждым днем развивает для вас неслыханные удобства и роскошь, мало заботитесь об этих фонарях и флагах на Адмиралтействе и только при звуке пушек спрашиваете с любопытством:

— Что это такое? отчего это пальба?

— Вода поднялась выше колец в каналах, — отвечают вам.

— А! — равнодушно восклицаете вы в ту минуту, когда несчастные обитатели Галерной гавани уже перебираются, дрожа от холода, при крике и визге детей, на свои чердаки...

Вот что такое Галерная гавань.

Не все же нам разъезжать с вами, любезный читатель, на торцовой мостовой Невского проспекта и Большой Морской; гулять по Дворцовой набережной; сидеть в креслах или ложах блестящих театральных зал; любоваться хорошенькими личиками и изящными

туалетами; не все же нам собирать анекдоты из жизни петербургских камелий; рыскать по магазинам; толковать о том, что такой-то из наших приятелей получил такоето место, а другой, которого мы даже не имеем чести знать, такой-то чин, крест, такое-то звание, такую-то награду или такое-то повышение; завидовать всем этим лицам втайне и злословить их въяве; подробно описывать балы, на которых мы с вами приглашены не были; подмечать смешные стороны разных господ и госпож, прогуливающих по Невскому проспекту...

Петербург — не на одном Невском проспекте, Морских и набережных. И Галерная гавань — Петербург, и там живут люди, к тому же люди, о которых мы не имеем почти никакого понятия, о которых нам почти никто не говорит и с которыми я хочу слегка познакомить вас...

Итак, читатель, обратимся к Галерной гавани. Теперь же это кстати: осень, серое небо, мелкий дождь, ветер, и вода, кажется, прибывает...

Мы отправимся по Большому проспекту

Васильевского острова. Васильевский остров — это особый город в городе, непохожий на остальной Петербург. Он весь в зелени, в садах и в бульварах, как Москва. Аристократическая часть Васильевского острова — это его великолепная набережная, и так называемая Первая линия — его Невский проспект. На одном конце его — Биржа с своим великолепным портиком и монументальными маяками; на другом — Галерная гавань с своими полусгнившими и покрытыми мохом и плесенью домишками; на одном конце — счастливы, кушающие устрицы в биржевых лавках и запивающие их шампанским; на другом — люди, не имеющие, может быть, и настоящего хлеба — контраст, к которому все мы, впрочем, пригляделись и который беспрестанно встречается в жизни не на одном Васильевском острове. Негоцианты, моряки, кадетские офицеры, художники, ученые и самый бедный класс мелкого петербургского чиновничества составляют главное народонаселение Васильевского острова. Здесь, на его хазовом конце, вы встречаете толпы студентов, возвращающихся с лекций; бирже-

вых диктаторов, подкатывающих к бирже на рысаках, моряков с георгиевскими ленточками на черном пальто; профессоров в синих вицмундирах или сюртуках, в очках и без очков; в несколько фантастическом наряде — в каком-нибудь плаще, перекинутом за плечо, в серой шляпе с большими полями, с волосами до плеч, с различными бородками и с портфелями в руках и под мышками — молодых художников, которые все немножко любят корчить Вандиков и Рафаэлей.

Коренные жители Васильевского острова, все, и мужчины и женщины, за исключением разных биржевых тузов (по крайней мере мне так кажется), имеют характер более скромный сравнительно с жителями петербургского материка; в их походке, взгляде, одежде нет того мелочного и заносчивого тщеславия, которое встречаешь и пешком, и верхом, и в экипажах на Морских, на Невском проспекте и на великолепных набережных здешней стороны. Каким-то миром и спокойствием охватывает вас, когда вы углубитесь в линии Васильевского острова, подальше от Биржи и Первой линии. Глядя на эти неболь-

шие, красивые и чистенькие деревянные домики с садами или на эти каменные дома, отделанные с английскою прочностью, тщательностью, красотою и комфортом, с медными дощечками на дверях, блестящими, как золото, — вы невольно полагаете, что в них обитают самый строгий порядок, самая благо-разумная расчетливость; что здесь не бросают безумно денег, как у нас в Морской или на Невском; не живут на авось и не ставят последней копейки ребром, чтобы только пустить в глаза пыль своему ближнему.

Эти дома и домики принадлежат по большей части иностранцам, — людям, помаленьку скопившим себе капиталы трудом, знающим цену деньгам, на которые мы, не знающие, что такое труд, и имеющие по несколько сот и тысяч душ, выпадающих нам на долю по наследству, смотрим с небрежением. Город на Васильевском острове имеет, может быть, поэтому что-то свое, особенное, не петербургское; по скромности и наружному порядку он напоминает несколько немецкие города. Здесь нет той славянской размашистости в жизни, которая поражает везде по дру-

гой стороне Невы, на материке, за монументальным Николаевским мостом...

Загляните хоть из любопытства или для проверки моих замечаний в трактир г. Гейде. Это заведение не имеет ничего общего ни с баснословно дорогими ресторанами Дюссо, Донона и Бореля, где ухаживают только за лицами известными, кушающими по карте, то есть платящими за обед не менее шести рублей серебром; ни с русскими трактирами, которые более радушно угощают вас скверным маслом, поддельным шампанским и расстроенным органом. Заведение г. Гейде переносит вас совершенно в Германию, в средней руки трактир в немецком городе; здесь умеренный, очень порядочный *table d'hote* от 2 до 6 часов, по 60 коп., два бильярда, кости и пиво. Это немецкий клуб, пропитанный табачным запахом, всегда полный своими обычными посетителями, которые молчаливо и глубокомысленно пощелкивают бильярдными шарами или костями, покуривая свои сигары и попивая свое пиво... Ни один из посетителей ресторана Гейде — можно пари держать — не издержит более полутора рубля, хотя бы он

просидел до полуночи: ни одному из этих господ не придет в голову закричать: "Шампанского!" — и пить без всякого удовольствия теплое и подозрительное вино только для того, чтобы озадачить неизвестного господина, сидящего напротив, как это иногда делается у Дюссо и у Палкина. У Гейде все посетители знакомы друг с другом, и никто не желает озадачивать друг друга...

Чем далее вы углубляетесь по Большому проспекту от Первой линии, тем все тише и спокойнее становится вокруг вас. Вы идете как будто большой аллеей сада, потому что домов не видать за кустами и деревьями. За 7-й линией появляются уже деревянные мостки вместо плитных тротуаров; экипажи все реже и реже; за 12-й линией вам попадаются только извозчичьи дрожки и то изредка. Здесь и пешеходов-то немного...

Матрос в холстинном сюртуке, замазанном дегтем, идущий в Галерную гавань, молодой чиновник в форменном пальто с блестящими пуговицами, в фуражке с кокардой и красным околышем, очень довольный, по-видимому, этой полувоенной формой.

Чиновник вдруг останавливается, пораженный, и провожает глазами очень стройную, очень хорошенькую и очень бедно одетую девушку, которая, не обращая внимания, спешит к художнику, которому служит натурщицей. Далее за Финляндскими казармами, вправо, огромное поле с лесом в глубине, из которого выглядывают главы церквей: это Смоленское кладбище. Деревянные мостки с каждым шагом вашим вперед становятся беспокойнее и опаснее; здесь они служат не удобством, а препятствием для пешехода: доски в иных местах вздуло и покособило, в других они сгнили и провалились, обнаружив небольшую пропасть, покрытую грязною плесенью; к тому же у каждых ворот надо прыгать с этих патриархальных тротуаров и потом карабкаться на них, а у иных домов они поднялись больше, чем на аршин. Боясь переломить или вывихнуть себе ногу, вы сходите с них и продолжаете ваш путь по узенькой тропинке между заборами и палисадниками и этими допотопными тротуарами. Навстречу вам почти уж никто не попадает, а если и попадает какой-нибудь обитатель

или обитательница Галерной гавани, то они посмотрят на вас с таким удивлением и недоумением, с каким смотрят только разве на выходцев с того света. Впереди вас и уж очень недалеко полосатое бревно шлагбаума, за шлагбаумом взморье и парус лодки, а вправо ряд лачуг, которые тянутся к Смоленскому кладбищу — это-то и есть Галерная гавань, начинающаяся на конце Смоленского поля, или, вернее, болота, и спускающаяся к мутно-серой воде взморья. Вот что-то похожее на улицу перед вами: вы поворачиваете в нее... Неужели в самом деле это улица? С двух сторон ряд небольших деревянных, полусгнивших, одноэтажных домиков, перед которыми торчат одни безобразные остовы, на которых некогда были устроены мостки; а между этими остовами страшная топь, черная грязь и лужи: действительно, это улица. Она то вздувается холмом, то снова спускается в яму. Эти холмы покрыты яркою зеленью, которую пощипывают две грязные и тощие козы. В черной топи против одного домика, почти по середине улицы, стоит невыкрашенная, почерневшая лодка, на которой, может быть, за

несколько дней перед этим плавали ее хозяйка по этой улице. Домики по большей части в три окна, много в пять; они выкрашены были некогда желтой и серой краской, следы которой еще видны доселе; крыши подернуты зеленым или желтым сухим мохом; у иных домиков вместо забора рогожи, прибитые к палкам, за которыми, когда рогожи распахнутся от ветра, выглянут две или три гряды капусты. Замечательно, что почти все эти домики заклеены красными такого рода надписями: "Сей дом должен быть уничтожен в мае 1854 года", а внизу иногда другая надпись: "Простоять может до 1860 года", или "сей дом может простоять до 1850 года", и, несмотря на это, он еще коекак стоит до сей минуты, сильно, впрочем, покачнувшись набок. Эти надписи поражают человека, в первый раз зашедшего в Галерную гавань: тяжело становится, глядя на эту заклеившую нищету, на эту шаткую, ненадежную собственность с определенным сроком для существования. Но посмотрите повыше: еще страшнее этих клейм ярлыки почти под крышами, с надписью 7 Ноября 1824 года. Между полусгнившими ла-

чужками, у завалинок которых растут крапива и грибные наросты, попадаются нередко и новые домики, выкрашенные яркой краской, с бальзаминами и еранью на окнах и с кисейными занавесками, — аристократические домики, потому что везде есть аристократы, — даже и в Галерной гавани. В самой середине галерную слободу разделяет канал, через который перекинут большой деревянный мост. За мостом улица несколько пошире и потому посуше. Она сплошь поросла травой и в иных местах загромождена телегами, бревнами и досками и кучами хвороста и всякого сора. Эта главная улица, к которой сходятся другие улицы и переулки, выходит на болотистый луг, покрытый бесчисленными кочками, в конце которого видны, среди тощих и низких кустов, скирды сена, а у самого горизонта лес, примыкающий к лесу Смоленского кладбища... Людей в этой печальной слободе почти не видно: изредка перейдет через улицу от своего разваливающегося дома к мелочной лавочке старушонка в лохмотьях, держа в иссохшей и морщинистой руке молочник с отбитым носком, или услышав шум ваших ша-

гов, высунется из окна девушка целый день не отнимающая головы от срочного шитья, и с любопытством и удивлением посмотрит на вас и задумается: откуда, как и для чего попал сюда незнакомый человек?

Тишина на улице нарушается только криком гусей, размахивающих крыльями и вылетающих из канала на берег, и мычанием коровы, которая, остановившись у ворот, глухо мычит, просясь домой и виляя своим хвостом от нетерпения. Канал, разделяющий гавань пополам, оканчивается большим прудом, берега которого поросли ивовыми кустами, а поверхность покрыта широкими круглыми листьями желтых болотных кувшинчиков. У моста, где канал довольно широк, стоит большая барка без мачт, набитая разным тряпьем и стружками, в которых, очень усердно копаются старуха и девочка... Воздух в Галерной гавани пропитан болотистым, грибным запахом и гнилью. Самый бедный, отдаленный, грязный городок внутри России нельзя сравнить с этою несчастною слободою, которая еле держится на трясине болота. Глядя на эти домишки и улицы, не веришь, что это частич-

ка великолепного Петербурга и что гранитная набережная Невы с ее огромными зданиями только в трех верстах отсюда.

Заметьте вот этот домик в два окна пепельного цвета, с завалинкой наперед, стоящий несколько повыше других на берегу канала и прислонившийся к толстой, расщепившейся и полусгнившей иве. В нем (это было давно) жила старушка, вдова чиновника, с двумя детьми — сыном и дочерью.

Я вам расскажу вкратце историю этого семейства, как она была мне передана человеком, принимавшим участие в этих бедных людях.

Старушку звали Матреной Васильевной, дочь ее — Татьяной, а сына — Петром. Муж старушки служил в каком-то департаменте столоначальником и всякий день из Галерной гавани ходил на службу. Он родился в Гавани, женился и провел в ней всю жизнь, аккуратно и добросовестно исполняя свои служебные обязанности и разделяя все свои интересы между службой и семейством. Способности он имел ограниченные, по натуре был робок, и место столоначальника, полученное

им в пятьдесят лет, совершенно удовлетворяло его честолюбие. Начальство было довольно его аккуратностию и усердием и всякий почти год давало ему небольшие денежные награды; товарищи любили его за его честность; жена души в нем не слышала. Требования у них никаких не было, и они не жаловались на свою судьбу; даже частые наводнения их не беспокоили, потому что они привыкли к ним с детства. Всю прислугу их составляла кухарка, женщина, преданная им, служившая еще отцу чиновника, которой сама Матрена Васильевна нередко подмогала. В трех комнатах и в кухне, составлявших весь домик, были удивительный порядок и чистота: нигде ни пылинки и все лоснилось. Матрена Васильевна, всякий раз после чаю провожая своего мужа в должность, сама закутывала его, чистила щеткой его шинель и крестила его, а когда он возвращался со службы, встречала его с такою радостью, как будто не видала несколько месяцев. Детей оба они любили и баловали немного. Так прожили они кротко и тихо более двадцати лет. Дети тем временем подросли; дочь была уж почти невеста, а

сын кончил курс в гимназии, когда старик, после наводнения осенью 183* года, провозившись, несмотря на крики и увещания своей жены, по колени в воде несколько часов сряду, простудился, слег в постель и умер. Отчаяние Матрены Васильевны было страшно. С год после смерти его она всякий день, несмотря ни на какую погоду, таскалась на его могилу на Смоленское кладбище, сидя на ней, кивала головой, причитая и восклицывая и, наверно, отправилась бы вслед за ним, если бы ее не поддерживала любовь к детям. Своих домашних обязанностей она, однако, не забывала; несмотря на свое горе, целый день хлопотала и возилась, и когда дочь говорила ей: "Что это, маменька, вы все сами... позвольте, я..." — она перебивала ее: "Нет, сиди, матушка, за своим шитьем, это не твое дело. Ты и так замучилась". После смерти мужа старушка поневоле взошла в долги, потому что одним пенсионом ей и одной нельзя было прокормиться. Дочь, впрочем, немного поддерживала ее своим рукодельем.

Таня была высокая, стройная и хорошенькая белокурая девушка. Она с детства показы-

вала твердый и решительный характер, который можно было впоследствии особенно заметить в ее взгляде и в умном, несколько грустном выражении ее глубоких серых глаз. У нее рано обнаружились ничем не объяснимые антипатии и симпатии к людям. На четвертом году своего возраста она привела в совершенный ужас своих родителей, назвав одного из самых редких и почетных их гостей, господина в чине статского советника и с крестом на шее, в глаза "противным и гадким" (что, впрочем, действительно было справедливо), и убежала от него с визгом в ту минуту, когда он хотел удостоить ее своею ласкою и протянул уже свою руку, чтобы потрепать ее по щеке; а за два года до этого неприятного события, когда еще ее носили на руках, она, улыбаясь, протянула ручонки приласкавшему ее старику, отставному матросу-конопатчику в белой, замасленной дегтем куртке, из карманов которой торчала пакля, и сейчас с видимым удовольствием пошла к нему на руки. Припоминая эти обстоятельства, их соседка-качиновница, имевшая слабость молодиться, румяниться и закатывать глаза под лоб в раз-

говоре, с молодыми людьми и почему-то считавшая Таню своей соперницей, замечала о ней с презрительной гримасой: "Она еще с детства показывала самые неблагородные наклонности. У нее и амбиции никакой нет. Хорошего общества она избегает, а с Тимофеем-конопатчиком по целым дням разговаривает". И это была правда: Таня очень любила конопатчика Тимофея, а конопатчик Тимофей, известный всей Галерной гавани своею суровостью и честностью, обнаруживал постоянно к Тане необыкновенную и странную в таком человеке привязанность и нежность: когда она была ребенком, он строил ей корабли и помогал ей спускать их на воду, возился с ребенком во время отдыха от своей работы по целым часам и впоследствии, когда Таня выросла, часто заходил ко вдове посмотреть на "свою барышню" — так он называл Таню.

Таня рано поняла свое положение: лет с тринадцати она уже сделалась усердной помощницей своей матери и потом не выпускала иголки из рук, так что старушка должна была твердить ей несколько раз в день: "Полно, Танюша, перестань, отдохни немножко."

Уж совсем смерклось. Что ты это глазыньки-то свои портишь?" Даже по большим праздникам и по воскресеньям после обедни, когда ее подруги, в праздничных, раскрахмаленных кисейных платьях, прогуливались по Смоленскому кладбищу, она возвращалась домой и принималась за свою работу. По ночам Таня читала книжки, которые приносил ей брат; но днем никогда никто не видал ее за книжкой, и многие сомневались даже, умеет ли она читать; а нарумяненная чиновница, страстная охотница до романов, называла ее решительно безграмотной. Одевалась Таня чисто, но гораздо проще своих подруг и, несмотря на свою любовь к нарядам, отдавала почти все зарабатываемые ею деньги матери; иногда только оставляла себе безделицу на самые необходимые покупки. Далее набережной Васильевского острова Таня никогда не ходила, и Петербург по ту сторону Невы представлялся ей каким-то фантастическим городом, который возбуждал в ней и любопытство и боязнь. В особенности действовали на ее воображение рассказы ее брата о театральных представлениях. Петруша был

страстный охотник до театров и непременно в месяц раз ходил в раек, добывая себе деньги для этого перепискою.

Матрена Васильевна очень сокрушалась о сыне. Его надо было определить на службу, а он все говорил: "Еще успею, маменька", — по целым дням сидел дома все за какими-то книжками или рыскал бог знает где и возвращался домой поздно, не заботясь о том, что мать и сестра не смыкали глаз до его возвращения.

— Бога ты не боишься, — говорила ему старушка, — ведь здесь долго ли до греха... здесь пустырь такой... тебя могут ограбить и убить. Разве не слышал, что на прошедшей неделе нашли на Смоленском кладбище мертвое тело?.

Петруша обнимал и целовал мать, смеялся и говорил: "Что у меня взять-то, маменька? какой дурак станет на меня нападать?" — и в заключение успокаивал встревоженную мать клятвами, что вперед никогда не будет возвращаться так поздно.

Однако слово свое Петруша не всегда держал. Кроме вспыльчивости и беспечности, из-

винительной, впрочем, в восемнадцать лет, он никаких дурных склонностей не обнаруживал...

Однажды рано утром старушка, надев свое парадное платье, которое было подарено ей ее мужем, когда он еще был женихом и которое она хранила, как драгоценность, в сундуке, отчего оно немного пахло затхлым, и свой лучший чепец с бантом наперед, по старинной моде, вышла из дому, никому не сказав, куда она отправляется в таком наряде. На вопрос дочери, надевавшей на нее салоп и укутывавшей ее горло шерстяным шарфом, Матрена Васильевна только улыбнулась и сказала приветливо: "Молода, хочешь все знать: скоро состареешься. После узнаешь, дурочка!" Старушка, выходящая из своей Гавани редко, очутившись вдруг на Адмиралтейской площади, в первую минуту совсем потерялась от шума, грома и блеска.

Она у всех встречных спрашивала: "Позвольте спросить, батюшка, как мне пройти на Литейную улицу?" Некоторые проходили, не удостоив внимания ее вопрос, другие, более остроумные, указывали ей в противополож-

ную от Литейной сторону; но, к ее счастью, ей попалась старушонка салопница, останавливавшая прохожих с плачевной гримасой словами: "Помогите бедной, несчастной вдове с семерыми детьми. Два дня без куска хлеба. Вечно буду за вас богу молиться". Матрена Васильевна, добродушно тронутая этими словами, подумала: "Вот еще есть на свете и беднее нас; как же нам жаловаться и гневить бога?" — и заговорила с салопницей.

— Неужто у вас семеро детей? — И покачала с сочувствием головой.

— Семеро, семеро, матушка, мал мала меньше, — отвечала салопница, — два дня сидят голоднехоньки.

Матрена Васильевна вынула из своего ридюля гривенник — у нее всего было три — и подала его салопнице. Салопница проводила ее до Литейной и болтала дорогой без умолку о своей крайности и о своих детях, которых в действительности у нее не было, и чуть не до слез растрогала старушку.

На Литейной жил начальник того департамента, в котором служил ее покойный муж. С трепетом сердца и с молитвою на губах Мат-

рена Васильевна взялась за медную ручку подъезда, сверкавшую, как золото...

— В добрый час, в добрый час, — шептала она про себя. В подъезде остановил ее усатый унтер-офицер с медалями.

— Кого вам? — спросил он строго.

— Их превосходительства господина...

— Просительница, что ли? — перебил он еще строже.

— Да, батюшка, с просьбой к их превосходительству...

— Наверх, на правой стороне. Там скажут куда.

— Слушаю, батюшка, — и старушка, поклонись сторожу, с великим страхом начала подниматься по лестнице, боясь ступить на холст, которым был покрыт ковер, чтобы не оставить следа на холсте.

Лакей наверху, гордо осмотрев ее с ног до головы, ввел в комнату, где дожидались уже два просителя, и, произнеся «здесь», вышел из комнаты. Старушка, несмотря на то, что едва держалась на ногах от такого длинного и непривычного для нее похода, не смела сесть и только по временам, вздыхая, произносила

про себя: "Господи, боже мой! Ох, господи, господи!" Так прошло около часу. Наконец дверь из соседней комнаты растворилась, и в дверях показался господин средних лет, небольшого роста, с блестящим украшением на груди, с необыкновенно значительной и озабоченной физиономией, окинув орлиным взглядом из-под нависших бровей присутствующих. Старушка как взглянула на него, так и обомлела. "Что я наделала, — подумала она, — никак, я не к тому попала". Начальник ее мужа был плешивый старичок. Она видела его только раз в жизни; но черты его сильно врезались ей в память. Ей никак не могло прийти в голову, чтобы он мог умереть или выйти в отставку и быть заменен другим. Правда, плешивый старичок, начальник ее мужа, жил не на Литейной, а в Шестилавочной, но она, получая адрес, думала, что он переменил квартиру. "К кому же я это попала? что я теперь буду делать? — продолжала думать она и в ту же минуту, как бы не веря глазам своим, спрашивала самое себя: — неужто ж это генерал, и такой молодой?" Между тем господин с украшением на груди подошел, с

замечательным достоинством и ловкостью, к господину с украшением в петлице, с глубокомысленною снисходительностию выслушал его и произнес: "Все это мне очень хорошо известно, но..." Господин с украшением в петлице начал было что-то такое еще говорить; но господин с украшением на груди перебил его величавым жестом и произнес выразительно и громко, ударяя на некоторые слова:

— Теперь мне все это выслушивать некогда: меня ждет господин министр.

И с словом «министр» он посмотрел на свои карманные часы.

— Я не могу же для вас жертвовать временем, когда меня ждет министр. Вы понимаете?..

У старушки дух захлебнулся при этих словах. Господин с украшением в петлице низко и молча поклонился и вышел. Затем, бросив мимоходом два слова другому просителю и взглянув на него только одним глазом, генерал, шаркнув правой ногой с таким искусством, которое бы сделало честь любому танцмейстеру, остановил себя в двух шагах от

старушки и несколько попятился назад туловищем, вполне обнаружив тем свою ловкость и прекрасные манеры (хотя их, правду сказать, обнаруживать было не перед кем, потому что старушка одна только оставалась в комнате), и произнес, повернув к ней свое правое ухо, назначенное для выслушивания просьб.

— Что вам угодно, сударыня?

Матрена Васильевна прерывающимся и дрожащим голосом, нескладно и длинно начала объяснять, что муж ее служил в департаменте тридцать пять лет сряду, что он пользовался милостями его превосходительства Ивана Кузьмича...

— Моего предместника? — бегло заметил начальник, — но... — на этом но он сделал значительное ударение и опять несколько попятился назад туловищем, взглянув на старушку с некоторым, впрочем, благосклонным, нетерпением, выразив голосом участие, а своей позой неизмеримую разницу, которая разделяла его от нее. — Но позвольте просить вас изложить вашу просьбу как можно кратче, потому что я не могу терять времени: ме-

ня ожидает господин министр... В чем она состоит?

Матрена Васильевна объявила, что она ниже просит об определении своего сына, кончившего курс в гимназии, на службу в тот департамент, где служил его отец.

— А! — воскликнул начальник. — Очень хорошо-с... но извольте видеть, сударыня, вакансий тепер нет. Он может быть покуда определен только без жалованья; а там мы увидим, испытаем его, и тогда можно будет назначить ему жалованье по мере его способностей и усердия к службе... Пришлите его ко мне.

Затем он, взглянув левым глазом на просительницу, с полуулыбкою наклонил голову несколько в правый бок и крикнул: "Карету!" Лакеи засуетились, курьер побежал по лестнице с портфелем вперед, а за ним величественно последовал начальник.

Старушка, следуя за ним, не спускала с него глаз и видела, как он сел в карету, поддерживаемый с одной стороны лакеем, а с другой курьером. Генерал даже удостоил бросить на нее взгляд из кареты, когда она стоя-

ла на тротуаре и низко кланялась ему.

Господин с блестящим украшением на груди, несмотря на гордые и величественные манеры, имел доброе сердце, которое смягчалось в особенности, когда он замечал в своих подчиненных или просителях некоторый трепет и удивление, справедливо возбуждаемые его званием и его величественными манерами. Злые языки и господа, расположенные к иронии, уверяли, что будто он воображает о себе бог знает что, людей низших чинов даже не считает людьми, учится перед зеркалом своим позам и орлиным взглядам, бьется из одного эффекта и пускает пыль в глаза даже перед такими ничтожными старушками из Галерной гавани, как Матрена Васильевна, в непрестанном беспокойстве не уронить своего достоинства; но мало ли чего не говорят. Конечно, он не имел, может быть, той "неизменной кротости и неутомимой вежливости — верного свидетельства уважения человека к достоинству человеческому в себе и в других, и, наконец, той неистощимой любви к людям-братьям, какой бы ни были они крови, на какой бы степени развития ни

стояли", как тот английский государственный муж, на которого обратила справедливое внимание "Русская беседа";[1] но такие государственные люди во всех странах бывают редки, и ставить на одну доску какого-нибудь лорда Меткальфа с государственным лицом, к которому приходила с просьбой Матрена Васильевна, было бы, без всякого сомнения, несправедливо...

По крайней мере Матрена Васильевна была от него в восторге и, возвратись домой с торжеством, сообщила подробности своего посещения сыну и дочери, не могла наговориться о добрейшем и вежливом генерале, который называл ее сударыней, и не могла надивиться молодости его лет. По мнению старушки, умнее, значительнее, важнее и красивее не было генерала на свете.

Петруша, действительно, был определен добрым генералом в департамент без жалования и начал совершать ежедневные путешествия из Галерной гавани на Фонтанку.

Вскоре после этого одна довольно значительная дама старая благодетельница Матрены Васильевны, к которой она ходила на по-

клон раз в год, рекомендовала Таню, как хорошую швею, другой значительной даме, так что Таня получила большую работу и за довольно выгодную цену.

Старушка никогда еще не была так счастлива и спокойна после смерти мужа...

Раз, когда Таня, по своему обыкновению, сидела у окна за работой, а Матрена Васильевна вязала носки для сына (Петруша был в должности), у их домика остановились блестящие дрожки, запряженные серою лошадейю с яблоками. На этих дрожках сидел очень красивый и молодой господин, щегольски одетый, и кричал: "Эй, дворник, дворник!" Но так как дворников в Галерной гавани нет, то крики этого господина оставались безответными; только на этот крик повысунулись с удивлением из окон в соседних домах мужские и женские головы, а на улицу сбежались толпою ребятишки, и обступили блестящие дрожки щегольски одетого господина, разинув рты от удивления при виде необыкновенного для них зрелища...

— Где дом Савелова? — крикнул на ребятишек щегольски одетый господин с нетерпением.

ем и досадой...

Они молчали, неподвижно выпучив на него глаза; а те, которые стояли поближе к дрожкам, испуганные его сердитым голосом, отбежали подальше и начали смотреть на него издалека.

Когда господин повторил свой вопрос, Таня на его крики отворила окно и, высунувшись в него, отвечала:

— Кого вам угодно? Савелова дом здесь.

Господин щеголеватой наружности, услышав тонкий и звучный голос девушки и увидев в окне хорошенькое личико, мгновенно сгладил морщины с своего лица, соскочил с дрожек, принял очень красивую позу и ловко приложил руку к шляпе.

— Извините, — сказал он, — не знаете ли вы, где живет вдова чиновника... — он назвал их фамилию.

Таня отвечала, что здесь.

— Покорно вас благодарю. Вы позволите к вам взойти?

И после этих вопросов обернулся к своему кучеру.

— Черт знает, — сказал он ему вполголо-

са, — куда это мы заехали! Посмотри, не сломались ли дрожки... Здесь невозможно ездить... это ни на что не похоже... это не улицы, а я не знаю что такое... Ты выезжай потихоньку и осторожнее на Большой проспект и там меня дождидайся.

И с этим словом он наклонился и вошел в калитку дома.

На крыльце встретила его несколько встревоженная и удивленная старушка, сзади которой стояла дочь.

— Извините, что я вас беспокою, — начал щеголеватый господин, приподняв слегка шляпу и обращаясь к Матрене Васильевне, — в вас принимает участие одна дама, и я, по ее просьбе, приехал к вам, чтобы узнать о вашем положении...

— Ах, это, верно, моя благодетельница, ее превосходительство Анна Ивановна! — воскликнула старушка, — дай ей бог здоровья, она не оставляет нас своими милостями... и Танюшу мою не забывает...

Старушка повернула голову к дочери.

— Это ваша дочь? — спросил щеголеватый господин, устремив на Таню внимательный и

долгий взгляд, который, казалось, хотел проникнуть в самую глубину ее сердца.

О таких взглядах Таня не имела никакого понятия, и потому ей стало как-то неловко. Она вся вспыхнула и потупила глаза.

Щеголеватый господин поклонился ей.

— Да пожалуйста, батюшка к нам в комнату, — говорила старушка, — милости просим, батюшка...

Щеголеватый благотворитель (потому что это, действительно, был благотворитель) пошел вслед за старушкой, устремив мимоходом на Таню еще более пронзительный и эффектный взгляд.

Старушка привела его в комнату и, усадив на стул, остановилась перед ним; но благотворитель вскочил с своего стула с утонченной вежливостью и усадил ее в свою очередь. Таня села к окну за свое шитье. Когда все уселись, наступила минута молчания.

Благотворитель принял живописную позу, снял перчатку с руки, обнаружил белую, точно выточенную из слоновой кости руку, с розовыми, искусно обточенными ногтями, сверкнул перед этими бедными людьми це-

лою массою дорогих колец на одном из своих пальцев и выставил свою маленькую ногу в блестящих сапогах напоказ...

Я знал благотворителя довольно близко. Он был человек превосходный и добрейший, но имел небольшую слабость, если только это можно назвать слабостию, рисоваться перед женщинами, особенно перед хорошенькими, и показывать, как говорится, свой товар лицом. Он был убежден, и не без основания, что каждая женщина при взгляде на него не может оставаться равнодушною, и любил, иногда даже без особенной цели, смущать женские сердца. И потому за достоверность всего того, что он проделывал перед Таней, я ручаюсь.

После минуты молчания щеголеватый благодетель произнес, осматривая комнату:

— Какой у вас порядок, какая чистота! это приятно видеть... Это делает вам честь...

Вы меня извините, если я попрошу вас сообщить мне некоторые подробности о вашей жизни...

Старушка откровенно и просто рассказала ему все и в заключение прибавила, что ее Та-

ня занимается теперь шитьем для генеральши Н.

Благотворитель выслушал ее очень внимательно и серьезно, при слове «пенсион» заметил, надвинув немного брови: "А! так вы получаете пенсион!" — а при имени генеральши Н. выразил свое изумление вопросительным взглядом, устремленным на Таню, и вскрикнул, как будто обрадовавшись чему-то:

— В самом деле? — и с приятнейшею улыбкою прибавил более тихим голосом, — я очень рад — это моя матушка... я этого совсем не знал... — Потом он задумался и спросил: — так вы, стало быть, не имеете никаких других средств к существованию?

— Какие же другие средства, батюшка! нет, — отвечала старушка, — кроме этого маленького пенсиона, ничего; да вот еще моя кормилица, — она указала на дочь... — Сын, слава богу, определился на службу, да еще жалованья не получает; а она, моя голубушка, вот как видите, целый день сидит и головы от работы не отнимает.

Благотворитель встал, подошел с большою грациею к Тане и произнес с большим уча-

стием:

— Матушке моей совсем не нужны эти вещи к спеху. Я могу вас уверить. А вам так много заниматься нехорошо: это может повредить вашему здоровью...

Таня покраснела и отвечала:

— Ничего-с: я к этому привыкла.

— Неужели, — продолжал он, — вы все сидите дома, не имеете никаких развлечений?

— Да какие же я могу иметь развлечения? — спросила она, не отнимая головы от шитья...

— Например, театры?..

Но на этом слове щеголеватый благодетель споткнулся, как будто почувствовав, что произнес глупость.

— Или какие-нибудь другие развлечения, — добавил он.

— Я никогда не была в театре, — сказала Таня, улыбаясь, — да и на той стороне я никогда тоже не бывала...

— Это, однако, ужасно! — воскликнул благодетель, пожав плечами...

Затем он обратился к старушке и, повторив, что в ее положении принимает участие

дама, имени которой он не имеет права назвать, заметил, несколько смешавшись, что он, с своей стороны, постарается быть ей полезным. Старушка кланялась и благодарила. Уходя, благотворитель заметил ей, что жить так далеко от центра города и в такой глуши неудобно и что она могла бы приискать небольшую квартирку за дешевую цену на той стороне города, на что Матрена Васильевна отвечала, что они уж привыкли к своей Гавани, что здесь жили ихние родители, здесь она родилась и замуж вышла, здесь похоронен ее муж и здесь она хочет положить свои кости.

Затем благотворитель с восклицанием: "А!" — очень ловко раскланялся и, уходя, бросил еще раз взгляд на Таню. Перешагнув за калитку, он подумал: "Однако какая хорошенькая — и где же? в Галерной гавани... и какое симпатическое личико!" — и обернулся на окно... Он был очень доволен, увидев высунувшееся из окна личико Тани, и, встретясь с ней глазами, снял шляпу, но Таня, заметив, что он ее увидел, быстро скрылась, не издав этого поклона.

Дня через два после этого Матрена Васильевна получила пакет от неизвестного с 25 руб. серебром.

Внезапное появление щеголеватого благодетеля, разумеется, привело надолго в волнение всех жителей и в особенности жительниц Галерной гавани и возбудило во многих неблагоприятные и завистливые толки о Матрене Васильевне и ее дочери. Более все кричала нарумяненная соседка-чиновница, называя Матрену Васильевну пройдохой, а Таню — таким именем, о котором лучше не упоминать. Потом, когда волнение малопомалу стихло, жизнь галерных обитателей вошла в свой обычный порядок. Так камень, брошенный в болотную лужу, покрытую плесенью и тиной, приведет ее в волнение, образует на мгновение кружок на поверхности стоячей лужи, и, когда упадет на дно, кружок снова затянется плесенью.

Прошло месяца три после этого события. В это время в домишке Матрены Васильевны не произошло ничего нового... Сама она вязала носки и хлопотала по хозяйству, как обыкновенно; Петруша занимался, по-видимому,

службой усердно и приносил еще на дом переписывать бумаги. Таня все шила; но когда работа приведена была к окончанию, надо было подумать о том, чтобы отнести ее.

— Мне ведь надо это отнести самой, маменька! Как вы думаете?

— Да, да, голубушка! — отвечала Матрена Васильевна, — как же это только ты пойдешь-то? Ты ничего не знаешь: заблудиться можешь, да и какой-нибудь шальной, пожалуй, еще обидит.

После долгих разговоров решено было, что она пойдет на другой день с братом и что брат проводит ее до самого дома генеральши, а на обратном пути из службы зайдет за нею. Так и было сделано. Таня принарядилась несколько и рано утром отправилась с братом. Старушка прочла ей наставление, как она должна вести себя с генеральшей и с ее сыном, если увидит его; в каких словах выразить им благодарность за их благодеяние (она была уверена, что 25 рублей были присланы ими) и в заключение перецеловала ее и несколько раз перекрестила.

Петруша возвратился домой, по обыкнове-

нию, часов около шести, но один.

Сначала это испугало Матрену Васильевну; но когда Петруша объявил ей, что генеральша уговорила Таню остаться на несколько дней, чтобы заняться работой, которую нельзя брать на дом; когда он отдал ей письмо от Тани и деньги, полученные ею за ее работу, когда он прочел ей это письмо, в котором Таня успокоивала мать на свой счет и писала, что генеральша осталась очень довольна ее работой, обласкала, ее и просила ее так убедительно остаться, что она не могла отказать ей в этой просьбе, — старушка успокоилась и произнесла, перекрестясь: "Слава богу! господь бедных людей не оставляет".

Прошло две недели после отлучки Тани, и Матрена Васильевна, заметно скучавшая по дочери, начала приходить в беспокойство и просила Петю зайти проведать сестру и узнать, когда она придет домой. Конопатчик Тимофей всякий раз заходил наведываться, не возвратилась ли Таня, и однажды, нахмурив свои густые брови, которые у него торчали наперед, и строго покачав головой, сказал: — Это уж не след, Матрена Васильевна —

вот что! — и, вынув свою тавлинку, с некоторым ожесточением по нюхал табаку.

— Что такое не след? — спросила старушка.

— Да то же... нехорошо...

— Да что же нехорошо-то? Она ведь не где-нибудь, а в генеральском доме; генеральша обращается с ней, как с своей дочерью... и она сама пишет об этом, и Петенька говорит.

Однако, оправдываясь перед Тимофеем в отсутствии дочери, Матрена Васильевна внутренне чувствовала, что Тимофей прав. На сердце у нее было что-то беспокойно, а отчего, она и сама не знала.

— Бог с ней, с генеральшей, — возразил Тимофей, — генеральша ей не мать... да! девица-то умная, что говорить, да уж там обычаи не те, совсем другое положение; дома-то все лучше, Матрена Васильевна: дома-то она, как в родном гнездышке; а та сторона нам чужая... туда соваться не след, верно так...

Прошел месяц, и хотя Матрена Васильевна имела постоянные сведения о дочери, но беспокойство ее увеличивалось, несмотря на это, с каждым днем, и она сама решилась пойти к

Тане. Она нашла Таню здоровою и веселою; но материнское сердце заметило сейчас какую-то перемену в дочери, — какую именно, Матрена Васильевна не могла отдать себе отчета, — но эта перемена заставила ее призадуматься. Точно, в веселье Тани было что-то раздражительное, тревожное, выражавшееся и в движениях, и в голосе, и во взгляде, что-то необыкновенное и несвойственное ей. Генеральша, однако, упростила Матрену Васильевну, чтобы она оставила у нее дочь еще на несколько времени, и рассыпалась в похвалах ей. Старушка возвратилась домой, отчасти довольная лестными похвалами ее милой Танюше, отчасти печальная, сама не зная отчего.

Таня пробыла у генеральши более двух месяцев. Первые дни после ее возвращения домой Матрена Васильевна была в полном восторге и не делала над нею никаких наблюдений. Присутствие ее оживило их уголок: без Тани все было в доме не то, недоставало чего-то; с ее прибытием опять все приняло прежний вид. Таня первые дни немножко отдохнула, а потом снова уселась к своему окну

за работу, и все пошло прежним порядком, как будто она и не была в отсутствии; но старушка, глядя на нее исподтишка, начала замечать, что она работает не так ровно и спокойно, как прежде: иногда воткнет иголку в свою подушку и о чем-то как будто задумается; иногда так, ни с того ни с сего, высунется в окно, как будто в комнате ей недостает воздуха; иногда не слышит вопроса или отвечает совсем не на вопрос. Матрена Васильевна находила даже, что Таня хуdeer. Было ли это действительно так, или только казалось беспокойному материнскому воображению, — решить трудно. Так прошло еще несколько месяцев. В течение этого времени Таня раза два в неделю выходила из дому на короткое время и на вопрос матери: "Куда ты ходила, Танюша?" — отвечала постоянно, что "немного прошлась для воздуха, что у нее голова болит что-то: должно быть, прилив к голове". Таких приливов прежде у Тани не бывало, и она выходила только в воскресенье и по праздникам в церковь. Время шло. Таня начала заметно скучать. Часто, оставляя работу, она принималась за книжку днем, против

своего обыкновения; часто выбегала в кухню и о чем-то тайком шепталась с кухаркой. Кухарка, раз мимоходом, всунула ей в руку какуюто записочку, которую Таня бегло пробежала и с судорожным движением спрятала на груди.

Когда однажды старушка получила рублей пятьдесят, и всё от неизвестного, эти деньги отчего-то более ее смутили, чем обрадовали.

— Знаешь ли что, Таня? — сказала она, обращаясь к дочери, — я ведь подозреваю, от кого эти деньги... мне все сдается, что это сын генеральши... только это напрасно: ведь есть люди беднее нас... Мы еще, слава богу, пробиваемся кой-как, а иные просто по суткам голодные сидят...

Таня ничего не отвечала на это. Она смотрела в окно. Старушка продолжала:

— Вот хошь бы наша Прасковья Антиповна. Она вчера забегала ко мне; просто, говорит, хоть петлю на шею да в воду... Знаешь ли, Танюша, я хочу отнести ей что-нибудь из этих денег... Ведь они нам как с неба свалились...

Таня вдруг, в каком-то волнении, с пыла-

ющими щеками, обратилась к матери и быстро проговорила:

— Что ж, это прекрасно, маменька! Дайте мне, я сама сейчас отнесу ей...

Наступила зима; зима сменилась весной. В семействе Матрены Васильевны не произошло никаких особенных перемен; только прогулки Тани все делались чаще и продолжительнее, а на лето генеральша, мать щеголеватого благотворителя, взяла Таню к себе на дачу, написав очень лестное письмо к ее матери, в котором, между прочим, было сказано, что она (генеральша) "принимает искреннее участие в положении ее и ее дочери и что готова быть для нее второю матерью".

Как ни лестна была такая фраза самолюбию Матрены Васильевны, но она отпустила дочь скрепя сердце.

По возвращении Тани с дачи старушка, взглянув на нее, не поверила своим глазам: так Таня, стоявшая теперь перед нею, не походила на прежнюю ее Таню... На ней было прекрасное платье, шляпка, манишка, ботинки, — все это подаренное ей доброй генеральшей. Матрена Васильевна любовалась всеми

этими нарядами и осматривала ее в подробности. Ей показалось, что Таня и ходит, и смотрит иначе, и говорит не так.

— Теперь ты у меня стала точно какая-нибудь знатная барышня, — сказала старушка, целуя ее, и невольно вздохнула почему-то о прежней Тане.

Зимой Таня начала часто бывать у генеральши и, уходя из дому, обыкновенно вместе с братом, который провожал ее, говорила матери:

— Может быть, я останусь ночевать там, маменька, так вы не беспокойтесь.

Матрена Васильевна крестила ее, говорила: «Хорошо», — но беспокоилась, хотя скрывала это.

Таня в последнее время очень сблизилась с своим братом. Было заметно, что между ним и ею существует полная откровенность.

В Гавани начали ходить о Тане недобрые слухи. На ее наряд косились старухи салопницы и жены чиновников и штурманских офицеров, а девушки, их дочери, даже некоторые из прежних подруг Тани, разговаривая с нею, как-то подозрительно улыбались;

Тимофей-конопатчик стал ходить ко вдове реже и избегал встречи с Танею. Странно, что это последнее обстоятельство, по-видимому, более всего беспокоило Таню.

На следующее лето приглашения от генеральши не было, и Таня все лето провела в Гавани. Но она была постоянно в тревожном состоянии, сидела за работой только для виду, по вечерам уходила с братом гулять на Смоленское поле и возвращалась домой с красными, распухшими глазами. У Матрены Васильевны сердце чувало что-то нехорошее.

Она несколько раз спрашивала Таню:

— Да что с тобой, Танюша? скажи мне, друг ты мой! Не скрывайся от матери.

Или:

— Отчего у тебя заплаканы глаза-то?

Но Таня упорно отвечала на эти вопросы одно и то же:

— Ах, боже мой! да ничего, маменька! Это вам так кажется.

И даже начинала сердиться на мать, когда та очень приставала к ней.

Так наступила дождливая и бурная осень 184* года... Но я должен еще сказать несколь-

ко слов о Петруше. Два года с лишком служил он в департаменте. Способностями и усердием его к службе были, кажется, довольны; сам начальник, с блестящим украшением на груди, изволил отзываться несколько раз в очень лестных выражениях о его почерке; но жалованье Петруше не давали, и когда он осмелился заметить об этом своему столоначальнику, прибавив, что хоть бы какую-нибудь награду ему дали, хоть бы на сапоги, потому что одни сапоги разорили его; что он всякий день ходит из Галерной гавани, — то столоначальник, не любивший, чтобы подчиненные его рассуждали (он в этом несколько подражал своему высшему начальнику), принял слова молодого человека за грубость и сделал ему очень крупное замечание, проговорив, между прочим, себе под нос, так что Петруша слышал: "Каждый молокосос нынче уж бог знает что о себе думает!" Петруша в этот раз пересилил себя и смолчал, но когда шесть вакансий с жалованьем прошли мимо него, замещенные по разным просьбам и протекциям, Петруша, после замещения шестой, не выдержал и в один день прямо отправился

к начальнику с блестящим украшением на груди, который всегда сидел в особой комнате и один. Когда Петруша подошел к заветной двери, от которой в эту минуту, как нарочно, отлучился курьер, постоянно торчавший тут, у Петруши сильно забилося сердце; но он не удержал своей вспыльчивости, хватился за отлично вычищенную ручку замка и очутился за роковою дверью прямо перед лицом начальника.

Начальник, державший в руке какую-то газету, при этом шуме положил ее на стол и обратился к двери. При виде Петруши брови его строго надвинулись на глаза, и он спросил сердито и скороговоркою:

— Что это значит? что вам надобно?

— Я осмелился, ваше превосходительство... — начал было Петруша взволнованным голосом.

Но его превосходительство замахал рукой, схватился за колокольчик, начал звонить и кричать:

— Курьер! курьер! где курьер? пошлите курьера!

В соседней комнате поднялась страшная

тревога; несколько человек бросились за курьером.

Курьер явился и вытянулся перед начальником.

— Что ты? где ты? — закричал он на него, — куда ты уходишь... Я занят, а тут без доклада... Смотри... смотри... что это такое? что это такое? я тебя спрашиваю.

И разгоряченный начальник указывал пальцем на Петрушу.

— Ты видишь это? а? видишь?

— Виноват, ваше превосходительство, я только на минутку отлучился по нужде, — произнес курьер, искоса взглянув на Петрушу.

— Ты не знаешь, болван, своей обязанности! По нужде! А от твоей нужды происходят здесь беспорядки! Нужды не должно быть, когда ты на службе. В другой раз я тебя за это выгоню... я тебе прощаю это в последний раз... слышишь? в последний.

Когда курьер вышел, начальник сделал несколько шагов и полуоборотом обратился к Петруше.

— А вы, — сказал он, — как же вы осмели-

ваетесь входить к своему высшему начальнику без доклада? И какая может быть у вас до меня необходимость?.. Вы понимаете, какое расстояние между мною и вами?.. Отвечайте.

— Ваше превосходительство, — отвечал Петруша, — я виноват, простите меня; только крайность... я служу усердно два года и пять месяцев без всякого жалованья; я всякий день хожу из Галерной гавани...

— Что мне за дело до вашей Галерной гавани? — перебил генерал. — У вас есть непосредственный начальник: вы должны обращаться с вашими нуждами к нему, а не ко мне... как же вы можете лезть ко мне сюда, со всякою глупостью? Что это за своеволие!

И как вы можете самого себя рекомендовать... Что это такое?.. Извольте выйти вон.

И начальник энергическим жестом указал Петруше на дверь.

— И знайте, — прибавил он, — что такая с вашей стороны дерзость не может всегда пройти вам даром. Пошлите ко мне сейчас вашего столоначальника.

Столоначальник в одно мгновение оказался перед начальником и вышел из гене-

ральского кабинета бледный. Он накинулся на Петрушу. Петруша вспылил и, не давая себе отчета в словах, не помня, что он говорит, объявил, что он подает в отставку, и тотчас выбежал из департамента.

Он едва очнулся на половине дороги.

"Что я сделал, — подумал он, — и что я буду делать теперь?" В совершенном отчаянии он возвратился домой, а дома ожидало его новое горе.

Старушка мать бросилась ему навстречу. На ней лица не было. Она объявила ему, что Таня лежит в обмороке; что вскоре после его ухода в департамент она выбегала в кухню, шепталась с кухаркой и, возвратясь из кухни бледная как смерть, вдруг схватила себя за голову и грянулась об пол; что, когда ей расстегнули платье, на груди нашли смятую записку и что кухарка призналась, что эта записка отдана ей лакеем генеральского сына с просьбою доставить ее барышне.

И старушка подала записку сыну.

Петруша в эту минуту забыл о своем собственном горе. Он помертвел, выслушав мать, и с нетерпением, дрожащими руками,

раскрыл записку.

Она была без подписи и вот какого содержания:

"Отношения наши должны кончиться. К тому же я не давал тебе клятвы в вечной верности. Я более не могу с тобой видеться, ты сама поймешь причину, если я тебе скажу, что я женюсь. Прошу тебя быть благоразумной и не делать никаких скандалов — это ни к чему не поведет. Поверь, что я все, что могу, для тебя сделаю, — свои обязанности в отношении к тебе я очень хорошо понимаю; свидание же наше бесполезно, теперь ни к чему не послужат сцены; а я надеюсь, что ты не откажешься хоть в этот раз принять от меня небольшую сумму, которая поможет тебя обеспечить и которую ты вскоре получишь через моего поверенного, о чем я уже распорядился..." Петруша пробежал эту записку, смял ее в руке и положил в карман. Матрена Васильевна смотрела на него, ожидая, что он передаст ей содержание записки; но Петруша сказал только:

— Пойдемте, матушка, к Тане.

Когда они вошли в комнату, где Таня лежала на постели, Петруша подошел к ней.

Таня открыла глаза и посмотрела блуждающими, бессмысленными глазами на брата и на мать. Петруша припал к ней, давясь слезами, и повторял захлебывавшимся голосом:

— Полно, Таня, успокойся, Таня!.. Бога ради, не мучь себя напрасно.

Матрена Васильевна со стоном и оханьем говорила:

— Голубушка моя, что с тобою? что ты чувствуешь? скажи нам.

Но Таня ничего не понимала и ничего не отвечала. Петруша обратился к матери и сказал:

— Маменька, я побегу за лекарем, а вы куда не трогайте ее.

У Тани сделалось воспаление в мозгу. Две недели она была почти в безнадежном состоянии. Петруша и мать не отходили от нее. На это время конопатчик Тимофей почти поселился у них: он бегал за лекарством в аптеку, к фельдшеру, заведовал всем и распоряжался, потому что Матрена Васильевна бросила все. Таня выздоровела. Она так изменилась, что

ее было узнать невозможно. По целым часам она сидела сложа руки и не говоря ни с кем ни слова. Ласки брата и матери были ей в тягость, и она отвечала на них с принуждением...

В одно из последних чисел октября, дней через восемь после того, как Таня встала с постели, вечером поднялся сильный ветер, вода начала выступать и разливаться за плетни по огородам, выходявшим к самому взморью. Во всей Гавани поднялась страшная тревога и суматоха. Везде загорелись огоньки. Все перебирались и переносились на свои чердаки. В каждом домике раздавались стоны и оханье старух, крик женщин, визг детей.

Ветер к ночи усилился. Вода прибывала, затопив ближние к взморью улицы, и пробиралась в подполья. Ночь была такая темная, хоть глаз выколи. На Адмиралтейской башне горели уже три фонаря. Матрена Васильевна, Петруша и кухарка перетаскивали также кое-какие вещи получше на чердак. Таня помогала им, и на замечания матери: "Ты уж не трогай: мы всё это без тебя сделаем... Куда тебе! Ты еще такая слабая, еще, сохрани бог, про-

студишься да опять сляжешь", — Таня отвечала: "Ничего, я совсем теперь здорова, вы не беспокойтесь обо мне", — и бегала вместе с другими снизу на чердак. Вода у их домика остановилась на половине завалины, потому что он стоял немного выше других, но все пространство от их завалины до другого домика по ту сторону канала было затоплено. Огоньки в окнах отражались и трепетали в мутной воде, которая ходила волнами и с плеском ударялась в стены домов, разливаясь и проникая во все щели и подмывая шаткие их основания. Издали по временам раздавались протяжные крики, заглушаемые стоном и свистом ветра. Ветер, однако, понемногу начинал стихать.

— Ну, слава богу, Петруша, — сказала Матрена Васильевна, спускаясь с чердака, — ветер-то стал, кажись, потише, и вода маленько убyla... А где Таня?.. Таня! Таня!

— Она сейчас была тут, — отвечал Петруша, и он также стал кричать: — Таня! Таня!..

Ответа на эти крики не было.

— Где Таня? — с испугом вскрикнула Матрена Васильевна, натолкнувшись на кухарку:

— Я не знаю, матушка! она в сених была сию минуточку, — отвечала кухарка.

Петруша, потерявшись, начал бегать по всему дому, шарить во всех углах и кричать:

— Таня! Таня!

Он выбежал в сени, на улицу, остановился по колени в воде и кричал:

— Таня! Таня!

Но в ответ на это только завывал ветер и раздавался плеск воды...

Тани нигде не оказалось.

Бледное, печальное утро возшло над полузатопленной Гаванью. Матрена Васильевна все еще жила надеждой, что дочь ее где-нибудь отыщется; но с первым утренним светом эти надежды начинали в ней исчезать. Она подошла к окну, взглянула на убывающую воду и отчаянно вскрикнула в последний раз:

— Где ж моя Таня?..

У ней отнялся язык. Двои сутки пролежала она без движения, без памяти и без языка, а на третьи сутки отдала боту душу.

Тимофей и Петруша опустили ее в могилу.

Дней через пять после ее похорон Тимофей, все ходивший по берегу взморья и как

будто искавший чего-то, увидел верстах в двух от Гавани, на самом завороте острова, женский труп, только что прибитый волною к песчаной отмели. Это был, по всем приметам, труп Тани. Он сам сколотил для нее гроб, вырыл могилу в лесу недалеко от берега, прочитал над гробом молитву и опустил его. Через несколько времени он обложил могилу дерном и поставил крест над нею.

Эту могилу, с почерневшим и покачнувшимся от времени крестом, можно видеть до сих пор влево от Смоленского кладбища, в лесу, на оконечности Васильевского острова.

О Петруше несколько времени после похорон матери не было никакого слуху. Где он скрывался, неизвестно; только он не возвращался более на свою квартиру.

Через несколько дней после этого, перед самым рождественским постом, у освещенного площадками подъезда на одной из больших петербургских улиц столпились любопытные в ожидании молодых. Две горничные из соседнего дома рассуждали между собою:

— А что, Маша, невесту-то ты видела?

— Как же, видела. С рожито она так себе; только, говорят, пребогатеишая... Он-то красавец перед нею... ну да, видно, на богатство польстился; а уж волокита такой, что этакое и нет другого... Просто бедовый!

В эту минуту к подъезду с громом начали подкатываться кареты, и из них, мелькая блестящими тенями, стали выскакивать дамы в великолепных туалетах и кавалеры в военных и статских мундирах, с кавалериями через плечо и с блестящими украшениями на шее и на груди, и в числе их начальник Петруши.

— Смотри, смотри... вот и молодые! — вскрикнула одна из горничных, толкая другую.

Все придвинулись к подъезду, чтобы лучше видеть молодых. Какой-то молодой человек, в фуражке, бедно одетый и бледный как смерть, протолкался вперед всех и стал у самого подъезда, оттолкнув женщину с платком на голове, не пускавшую его. Женщина выругала его мазуриком.

Из кареты вышла сначала молодая, в белом атласном салопе, а за нею уже молодой, в

блестящем мундире, на который была накинута шинель, и в трехугольной, также блестящей, шляпе. Он ступил на тротуар с подножки; но в это самое мгновение человек в фуражке, протолкавшись вперед, ринулся на него с каким-то безумным ожесточением... Затем раздался крик... Несколько человек из толпы вместе с полицейскими служителями схватили безумца и связали. В руках его оказался нож.

Суматоха у подъезда сделалась страшная. К счастью, он не успел нанести вреда молодому.

— Вот ведь я говорила, что мазурик! — вскрикнула с каким-то торжественным ожесточением женщина с платком на голове...

Это необыкновенное происшествие надедало в Петербурге большого шума. О нем долго были различные, весьма противоречащие толки.

ИМЕНИННЫЙ ОБЕД У ДОБРОГО ТОВАРИЦА

Я был приглашен одним из моих университетских товарищей на обед, по случаю именин жены его.

Товарищ мой имеет состояние, притом служит, помаленьку подвигается впереди со временем, может быть, достигнет и до генеральского чина. Человек он мягкий, кроткий, довольный всем и добросердечный в высшей степени. Супруга его дама полная, очень приятной наружности и с постоянно заспанными глазами. Оба они очень радушны, любят угощать, невзыскательны в выборе своих знакомых и большие охотники до чиновных особ. Посещением чиновных особ они гордятся, остальным гостям радуются. Если ктонибудь зайдет к ним нечаянно обедать, они бывають тронуты этим чуть не до слез... Таких гостеприимных домов в Петербурге очень мало. Дом моего товарища клад для так называемых блюдолизов (pique-assiettes), которых в Петербурге, как и во всех больших городах,

очень много... Я забыл еще об одной черте — товарищ мой и жена его несколько падки к лестии, очень чувствительны и склонны к следам.

Я приехал к пяти часам, зная, что званые обеды начинаются всегда позже обыкновенного. В гостиной я нашел трех пожилых чиновных особ и человек восемь также пожилых, но менее чиновных, в числе которых был один маленький и грязненький господин, в вицмундире, с манишкой, торчавшей из-под жилета, с застенчивыми манерами, державшийся больше около стенок и в углах и наклонявший почтительно голову всякий раз, когда чиновная особа проходила мимо него или взглядывала на него.

Господин этот смотрел блюдолизом. Кроме этого, были еще тут два молодых человека, неопределенных и робких, державших себя в стороне, с которыми маленький господин от времени до времени заговаривал.

В столовой был накрыт длинный стол, с именинным граненым хрусталем, а на ломберном столе между двух окон стояла закуска, на которую маленький и грязненький че-

ловек поглядывал исподлобья, но с приятностью. В то время как я вошел в гостиную, одна из чиновных особ разговаривала с каким-то господином, стоявшим задом ко мне.

Поздравив хозяина и хозяйку, я пошел положить мою шляпу в залу. В эту минуту господин, разговаривавший с чиновной особой, обратился ко мне и с необыкновенною приветливостью и приятными улыбками закивал мне головой.

Я узнал в нем также моего старого товарища, которого я совершенно потерял из виду и не встречал лет десять. Это был господин среднего роста, бледный, с тонкими губами, худощавый и сутуловатый, в очках, с крестом на шее и с другим в петлице.

Когда чиновная особа отошла от него, он бросился ко мне с каким-то особенным чувством и протянул мне обе руки. Такой порыв несколько удивил меня, потому что я никогда не был с ним в близких сношениях.

— Как я рад, что я тебя вижу... боже мой, какая приятная встреча!.. — и, говоря это, он крепко жал мне обе руки. — Сколько лет мы не видались! И не мудрено. Ведь я уже лет

шесть, как оставил Петербург — и не сожалею об этом. Я служу в провинции; благодаря бога, занимаю место почетное, начальство расположено ко мне, я исполняю свой долг по совести — спокоен и счастлив. Вообрази, я в нынешнем году получил три награды: вот это — он указал на свою шею, благоволение и годовой оклад. Это, братец, не со многими случается. Три награды в один год! Се жоли!

Он на минуту остановился и посмотрел на меня. Я смотрел на него. Кажется, несколько недовольный тем, что лицо мое не выражало никакого изумления, он продолжал однако:

— Я устроился так, что не завидую никому; женат, братец, имею милую, добрую жену, хорошую хозяйку, обзавелся деточками... Старшему сыну будет вот на пасхе уже пять лет. Да какой мальчик-то, если б ты видел; я отец, мне хвалить его, конечно, смешно, но если ты когда-нибудь заедешь в наши страны и будешь у меня, ты увидишь: головка у него совершенно в роде рафаэлевских ангелов. И какой умный, бойкий мальчик! уж читать умеет, страшный охотник до книг... И вообрази, что при всем этом у меня женино имение под

рукою — в двадцати верстах от губернского города, да и мое не очень далеко — ста верст не будет. Еще служба несколько мешает, а хозяйством я люблю заниматься — это моя страсть — и я в этом деле кое-что таки понимаю. Ты, верно, читал мои статейки в "Записках Вольно-Экономического общества"?.. Посмотри, какой у меня порядок в деревнях: все, и дворовые и крестьяне, по струнке ходят, а между тем крестьяне любят меня, как отца. Народ наш вообще, братец, славный и привязан к своим помещикам, разумеется, если они хорошие, а у нас в губернии все помещики прекрасные... Ну, конечно, в семье не без урода. Положение крестьянина, я тебе скажу, самое завидное, если помещик хороший...

Благодетельный помещик продолжал бы, вероятно, свой разговор еще долго, но равнодушие, с которым я выслушивал его, несколько охладило его, он остановился и после минуты молчания (я не нашелся ничего сказать ему) потрепал меня по плечу.

— Ну, а ты все по-прежнему занимаешься литературой? — сказал он мне с приятною, но несколько ироническою улыбкою.

— По-прежнему, — отвечал я.

— Это, конечно, дело хорошее, — возразил он, — но я признаюсь откровенно, мы с тобой товарищи, так нам с тобой церемониться нечего, — я, господа, на всех на вас пишущих сердит немножко... Как-то вы на все странно смотрите, отзываетесь обо всем с какою-то желчью, отыскиваете везде одни недостатки...

В эту минуту раздался голос хозяина дома: — Милости прошу закусить, пожалуйста...

Все двинулись в столовую, и речь о литературе была прервана.

Минут через десять все уселись за столом. Чиновные особы на почетном конце, близ хозяйки дома, а мы ближе к хозяину. Первые блюда прошли в молчании, раздавался только звон тарелок и стук ножей и вилок. Когда желудки несколько понаполнились, хозяин дома, не отличавшийся большим тактом и постоянно озабоченный мыслью занимать своих почетных гостей, обратился к одной из чиновных особ и, чтоб завести общий разговор, сказал с приятною улыбкою:

— Читали ли вы, ваше превосходитель-

ство, "Губернские очерки" Щедрина?..

Хозяин дома читал очень медленно, он читал больше после обеда, лежа на диване, и после двух страничек обыкновенно засыпал, но любил чтение и любил иногда поговорить об литературе.

— Эти очерки, ваше превосходительство, прекрасно написаны, и все их очень хвалят.

— Что такое? Какие очерки? — произнесла чиновная особа... — Нет, я не читал... У меня и на дело-то не станет времени.

— Гм! — промычал несколько смущенный хозяин дома.

— Позволь, Евграф Матвеич, — произнес благодетельный помещик чрезвычайно благонамеренным голосом, поправляя очки и смотря на чиновных особ, — я очень уважаю тебя и знаю твои правила, потому что мы знакомы почти с детства и сидели на одной скамейке, — но, извини меня, с твоим мнением я согласиться никак не могу. Очерки господина Щедрина я читал, и признаюсь тебе откровенно, направление их мне весьма не нравится: в них все представляется в искаженном виде, с одной только неблагоприятной сторо-

ны, — что недобросовестно.

Благодетельный помещик обратился к одной из особ...

— Уездные и губернские власти, ваше превосходительство, помещики и даже дамы представляются в этих очерках в самых грязных красках... Таких уже нет в наше время...

Тоже в этих очерках сочинитель нападает на взяточничество... Да, помилуйте, я сам служу, имею сношения со всеми... Смело могу сказать, положа руку на сердце, что у нас в губернии нет ни одного взяточника... Помилуйте, мы и не потерпели бы такого!.. Я по крайней мере про себя скажу, что я с человеком, который решился бы взять взятку, если бы он был даже мой старший, не захотел бы служить ни одного дня; а если б он был мой подчиненный — я бы и пяти минут не стал держать его при себе. Сохрани боже!.. А эти сочинители ничего сами не знают, а так говорят зря, что им придет в голову. Это недобросовестно, ваше превосходительство. Он обратился ко мне.

— Ты меня извини, — сказал он мне с приятною улыбкою, — я говорю не о всех сочини-

телях, тебя я не причисляю к таким, потому что хорошо знаю твои правила...

Маленький и грязненький господин, все время молчавший, вдруг произнес, взглянув на одну из особ и скромно потупив глаза:

— Действительно, ваше превосходительство, они прекрасно и совершенно справедливо рассуждают (он указал головою на благодетельного помещика). К величайшему прискорбию, новейшая литература... за немногими исключениями... (маленький и грязненький господин с лицемерно-сладким выражением взглянул на меня) изображает только картины, возмущающие душу, как будто у нас нет людей добродетельных, прекрасных, бескорыстных, исполняющих свято свой долг, которые составляют, так сказать, украшение общества.

— Все знают, что такие люди есть, и никто не сомневается в их существовании, — сказал я, — но есть и другого рода люди, для которых нет ни долга, ни чести, ни совести... и, я думаю, нет преступления изобличать такого рода людей и предавать суду общественному. Литература делает в этом случае не дурное

дело.

— Ну-с, позвольте вам заметить, — сказал один из присутствовавших, господин, очень важный по фигуре, улыбаясь с иронией, — вы вашей литературой уж злоупотреблений и взяточничества не истребите... Нет? Следовательно, к чему же об этом писать, только скандал делать!..

— Именно, — продолжала одна из особ с непритворною грустию, — это удивительно, что нынче вообще пишут... вот хоть бы, например, этот Гоголь... Ну, где таких людей можно встретить нынче, каких он описывает?.. Что касается до меня, я, слава богу, пятьдесят восемь лет живу на свете, бывал везде и в провинциях, а никогда не встречал таких уродов... и вся его книга, эти "Мертвые души", зловерное сочинение и оскорбительное для дворянского сословия...

— И, по моему мнению, — прибавила другая особа, — злоупотребления разные, взяточничество и тому подобное, — это совсем не дело литературы, она не должна в это вмешиваться... Мало ли у нее предметов для описания — картины природы, любовь!

Почему бы, например, не взять какой-нибудь исторический сюжет... вот хоть бы из царствования Бориса Годунова, что ли?.. тут поэтическое воображение очень может разыграться; а то чиновники, помещики — ну кому это интересно?

— Совершенно справедливо, — заметил благодетельный помещик с чувством.

— Золотом бы напечатать ваши слова, ваше превосходительство, — произнес с горячностью маленький и грязненький господин, который перед жарким начинал приходить в беспокойство и все хватался рукою за свой карман... Беспокойство это еще более увеличилось, когда появилось шампанское и начались поздравления. После поздравления все на минуту смолкло. Маленький и грязненький господин встал, вынул из кармана дрожащей рукой бумажку и обратился к хозяйке дома.

— Позвольте... я приготовил, — сказал он, заикаясь, — небольшое приветствие в стихах... Я желал бы...

Все обратились к нему с любопытством, и он начал читать с чувством, с увлечением и

нараспев:

*Семьи достойной украшенья —
Примерная хозяйка, мать;
Супруга гордость, утешенье!
Примите наше поздравленья...
Чего могу вам пожелать?
Одно — чтоб божья благодать
Вас осеняла, как доньне;
Чтоб в вашем Мише — добром сы-
не
Все добродетели отца
Во всем их блеске отразились...
Об этом молим мы творца!
Чтоб это пожелать — явились
Сегодня к вам на ваш обед:
Сановники, друзья, подруги —
И все приносят свой привет
Хозяйке доброй и супруге!..
Цвети ж, цвети на много лет, —
Семье и всем на утешенье
Произнесем мы в заключенье!..*

Поэт смолк, поклонившись, при кликах: "Браво! прекрасно!" А у хозяина дома покатились слезы из глаз, и по окончании чтения он прижал к груди своей грязненького господина.

Когда все вышли из-за стола, грязненький господин, который удостоился одобрения чиновных особ и даже пожатия руки, подошел к хозяйке дома, поговорил с нею что-то и поцеловал ее ручку. Он платил тем семействам, которые допускали его к себе, за даровые обеды и ласку лестью и мадригалами в дни именин и рожденья. Господин этот — литературный обломок времен давно минувших, лет тридцать, или тридцать пять назад тому пописывал еще стишки в «Колокольчиках», в «Гирляндах», в «Звездочках», в "Дамском журнале". Он смотрит с озлоблением на новую литературу и взводит на нее страшные обвинения за то только, что она не подозревает его существования.

В то время как чиновные особы садились за карточные столы, он подошел ко мне.

— Вы не смейтесь над моими виршами, — сказал он, смотря на меня с подобострастным и вместе язвительным выражением, — перед обедом, едучи сюда, мне пришел в голову этот экспромт, и я для памяти набросал его на бумажку. Мы уж люди отжившие, отсталые... Куда же нам гоняться за новейшими писате-

лями и иметь такие возвышенные мысли, какие имеют они! Мы действуем в простоте души. У нас глаголят уста только от избытка сердца...

И он засмеялся насильственно, схватил мою руку и крепко пожал ее.

Я отыскал свою шляпу и незамеченный добрался до передней, дав себе слово не ходить больше на именинные обеды к моему доброму товарищу.

СЛАБЫЙ ОЧЕРК СИЛЬНОЙ ОСОБЫ

Его превосходительство занимает значительное и видное место, так что другие генералы, когда речь заходит об нем, говорят обыкновенно со вздохом и покачивая головой: "Эк везет-то человеку! Эк везет! даже противно! В сорочке родился!" И действительно, место, занимаемое его превосходительством, во всех отношениях завидное место — и по окладам, и по почету, и потому еще, что оно такого рода, что невозможно почти обойтись без его превосходительства. Оттого с ним обращаются приветливо, ему улыбаются и подают два пальца такие сановники, при одном виде которых у всех петербургских чиновных людей, до четвертого класса включительно, захлебывается дыхание и замирает под сердцем. Я сам был однажды свидетелем в театре, как во время антракта его превосходительству протянули приветно два пальца и с каким почтительным восхищением он коснулся этих пальцев, нагнув голову ниже желуд-

ка; я сам видел, как после этого магического прикосновения его превосходительство выпрямил свой стан, торжественно загнул голову назад и с победоносной улыбкой продолжал свое шествие среди толпы, которая с любопытством осматривала его и провожала его глазами, шушукая: "Кто это такой?.. Вы видели, как сам NN. протянул ему руку!" Я имею честь знать его превосходительство очень давно. В детстве он поднимал меня на руки и трепал по щеке... когда еще не мечтал быть тем, чем он теперь, когда при входе особ четвертого класса, он робко отступал, низко кланяясь им, и только отвечал на их вопросы, не смея заговаривать с ними. Вследствие такого давнего знакомства его превосходительство удостоивал меня своим особенным вниманием, а иногда позволял себе в разговоре со мною употреблять одобрительные и весьма лестные для меня шутки, чего не удостоивались другие господа, имевшие равный со мною чин, — чин очень слабый.

Мало этого, его превосходительство не один раз изволил приглашать меня на обеды к себе и даже сажал меня возле себя с левой

стороны. Если я долго не бывал у его превосходительства, он, при встрече со мною на улице, останавливался и говорил: "Что это, батюшка, вы совсем пропали, вас не видно, вы забыли меня... Стыдно, стыдно!" — и при этом иногда благосклонно грозил мне своим указательным пальцем. Сначала его превосходительство имел небольшую казенную квартиру и вел образ жизни очень умеренный. Раз в неделю у него обыкновенно обедали гости, именно по воскресеньям.

Эти гости состояли из старых избранных друзей его превосходительства, но про них... увы! нельзя было сказать того, что с гордостью сказал про своих друзей Ф. Н. Глинка:

*Все тайные советники,
Но явные друзья!*

Нет, у его превосходительства, хотя он уже десять лет пользовался этим титулом, этим венцом всех наших помышлений и надежд (известно, что все мы — русские дворяне родимся для того только, чтобы сойти в могилу с генеральским титулом...), у его превосходительства в ту эпоху между друзьями еще не

было ни одного тайного советника... Я имел удовольствие знать всех друзей его превосходительства той давно минувшей эпохи: на-дворного советника Ивана Ильича Нефедьева, с Станиславом на шее, который постоянно ходил на цыпочках, как будто пол под ним был хрустальный, говорил, выдвигая губы вперед и сжимая их, как будто собирался играть на флейте, к каждому слову прибавляя с и ваше превосходительство, отчего разговор его походил несколько на птичий свист, и смотрел на всех генералов так приятно и с таким умилением, как дети смотрят на конфеты. Статского советника Василья Васильича Прокофьева, с Анной на шее, отличавшегося светскостью приемов, ловкостью движений, увлекательной диалектикой, артистическими наклонностями (он прекрасно декламировал стихи и пел куплеты) и глубокомысленностью. Я как теперь помню (такие минуты никогда не забываются!), как Василий Васильич, после сладко свистящих речей Ивана Ильича, однажды отвел меня в сторону и произнес с понижением и возвышением голоса:

— Я истинно не понимаю нашего доброго

Ивана Ильича. Как не стыдно ему какоюни-
будь ничтожную частичку с принимать зна-
ком учтивости. Учтивость нашего образован-
ного девятнадцатого века заключается не в
этой ничтожной частичке, а в интонации го-
лоса!..

Я не мог не согласиться с этим. Василий
Васильич улыбнулся, пожал мне руку и про-
изнес несколько нараспев, с ударением на
мы:

— Я знаю, что мы понимаем друг друга!

Кроме Ивана Ильича и Василья Васильи-
ча, на воскресных обедах его превосходитель-
ства всегда присутствовал друг его детства,
Сергий Федорыч Брусков; также статский со-
ветник мужчина ражий, плечистый, в рыже-
ватом парике, с мутносветлыми глазами,
имевшими несколько дикое и пронзающее
выражение, говоривший резко, твердо и упи-
равший в особенности на букву о. Сергия Фе-
дорыча очень уважали, но не любили и поба-
ивались несколько, потому что он, по его соб-
ственному выражению, резал правду-матку
всем в глаза и всех озадачивал своею смело-
стью, доходившею до грубости. Однажды за

обедом его превосходительства какой-то чиновник, приехавший из провинции и подчиненный его превосходительству, распространился о высоких качествах души его, обращаясь к нему самому. Сергей Федорыч смотрел на чиновника пронзительно во все время его речи, и когда чиновник кончил свой панегирик его превосходительству, а его превосходительство, умилившись, протянул ему руку, Сергей Федорыч: положил без всякой церемонии свою огромную пятерню на плечо его превосходительства и сказал:

— Лъстецы, братец ты мой, разделяются на обыкновенных лъстецов и сугубых. Вот этот господин, я не имею чести знать его (он ткнул пальцем на приезжего чиновника), принадлежит к сугубым лъстецам.

И потом прибавил, обращаясь к чиновнику:

— Не удивляйтесь, милостивый государь, моему замечанию. Оно, может, жестко показалось вам, но я мягко стлать не умею. Я как Правдолюб в старинных комедиях. Уж у меня такая тенденция... Он, конечно, хороший человек (при этом Сергей Федорыч ткнул паль-

цем на его превосходительство), но вы, милостивый государь, отзываетесь об нем, как о существе совершенном или о духе бесплотном, а и за ним так же, как и за другими смертными, грешки водятся... Ведь правду я говорю, мать?..

Он повернул голову к ее превосходительству, супруге его превосходительства.

Ее превосходительство была дама роста небольшого, съезжившаяся и сморщившаяся, несколько походившая на плод, не успевший налиться и засохший на ветке; но зато она отличалась высокими нравственными достоинствами: благоразумием, умеренностию, аккуратностию, благочестием и так далее. Она строго исполняла все семейные обязанности, строго присматривала за домашней прислугой, за своей воспитанницей и отчасти, может быть, за его превосходительством, потому что его превосходительство очень часто, что называется, лебезил около нее, заискивал в ней, как бы чувствуя что-нибудь за собою. Он называл ее нежными уменьшительными именами, как, например, Машурочка, дружочек и т. п., отчего строгое, неподвижное и

сморщенное лицо ее превосходительства не смягчалось нимало. Она никогда не улыбалась, потому что, по ее мнению, улыбка могла нанести ущерб ее нравственному достоинству, и делалась еще строже и серьезнее, когда в веселом расположении духа его превосходительство расшутится, бывало, с гостями и расхохочется иногда, довольный собственным юмором. Никаких дам я никогда не видал в доме его превосходительства, потому что ее превосходительство собственно к себе почти никого не принимала, кроме одной пожилой вдовы коллежского ассесора, с ридикюлем, на котором по черному фону была вышита какая-то пестрая птица, вроде райской. Эта почтенная вдова с райской птицей была ее поверенной и наперсницей и, по чувству благодарности к генеральше, подсматривала за генералом, за что последний не очень ее жаловал, хотя наружно был очень любезен с нею. Ее превосходительство являлась обыкновенно к самому обеду в сопровождении почтенной вдовы с райской птицей, которая садилась за обедом возле нее.

Во время постов им подавали особо пост-

ные кушанья, которые чрезвычайно шли к их постным физиономиям. При входе ее превосходительства его превосходительство бросался к ней навстречу, называл ее маточкой, целовал ее руку и представлял ей гостей.

Когда очередь доходила до меня, — его превосходительство всякий раз произносил одну и ту же шутку:

— Ну, а этот молодой человек, который так редко удостоивает нас своим посещением, знаком тебе, дружок?..

Но генеральша не обращала снимания на юмор генерала, очень серьезно отвечала на мой почтительный поклон и спрашивала:

— Как здоровье вашей матушки?

Я обыкновенно благодарил и отвечал:

— Слава богу!

Тогда генеральша замечала:

— Очень рада, что имею удовольствие вас видеть. И в заключение прибавляла обязательно:

— Потрудитесь засвидетельствовать почитание вашей матушке. Не забудьте, прошу вас.

Этим обыкновенно оканчивался наш раз-

говор. За обедом ее превосходительство почти всегда молчала, а если и разговаривала, то шепотом, с почтенной вдовой, которую райская птица не оставляла даже и за обедом.

Это было в первую эпоху генеральства его превосходительства, когда еще никто не завидовал ему, — да и завидовать, признаться, было нечему. Оклады он получал небольшие, очень нуждался и прибегал иногда к займам; сановники и не подозревали тогда о его существовании; еще мягкая нога его, которая теперь так изящно скользит и шаркает в раззолоченных салонах разных стилей на мозаичных паркетах, — тихо, несмело и осторожно ступала тогда только по паркету приемной одного вельможеского дома, не осмеливаясь переступить за дверь этой приемной; еще выше Прокофьева, Нефедьева и Брускова он не имел тогда друзей.

Но... но уже человек наблюдательный, дальновидный и проницательный мог предугадать, что его превосходительство ожидает высшая доля, что перед ним должна открыться блестящая перспектива. Его открытое чело, орлиный нос, приветливый взгляд, быстро

переходивший в строгий начальнический, то лестный и услаждавший душу маленького чиновника, то повергавший его в прах, — все предвещало, что он должен подняться, и значительно подняться. Так и вышло. Конечно, его превосходительство возвышению своему не был обязан исключительно своему открытому челу и орлиному носу; без особенной протекции и без счастливых обстоятельств он мог бы и с своим орлиным носом остаться на невидном и незначительном месте. Но как бы то ни было и чему бы он ни был обязан своему возвышению, теперь его превосходительство уже не лицо, а особа, и особа, которой протягивают особы из особ по два пальца. Этот орлиный нос, — счастливая игра природы, который был бы вовсе некстати, даже имел бы что-то комическое, если бы его превосходительство занимал невидное место, — теперь удивительно идет к нему и придает что-то необыкновенно гордое и значительное его физиономии, а это открытое чело, которое просто называлось бы лысиной, если б он не занимал видного места, теперь придает ему что-то олимпийское и заставляет предпола-

гать о его возвышенном уме. Глядя на этот огромный, лоснящийся лоб, странно было бы сомневаться в его уме, в его широких взглядах, в его высоких административных способностях, что бы ни говорили против этого вольнодумцы и беспокойные люди, которые во всем и во всех отыскивают одни недостатки...

У его превосходительства теперь анфилады комнат, превосходно меблированных на казенный счет; в его передней кишат ловкие курьеры и официанты, а в приемной, перед кабинетом, стоят, притаив дыхание, смиренные чиновники и робкие просители.

Как человек с великодушным сердцем, его превосходительство не изменился к своим старым друзьям, к Прокофьеву и к Нефедьеву, которые все еще состоят в прежних чинах — и приглашает их снисходительно обедать по-прежнему, по воскресеньям; даже и я, не имеющий чина титулярного советника, удостоился этой чести, — только все мы в великолепных его салонах отчего-то утратили прежнюю развязность и ощущали какую-то неловкость, как будто на нас были надеты дурно

сшитые узкие платья, которые жали под мышкой. С одним другом детства, Брусковым, его превосходительство прекратил все сношения, и вот по какому поводу, если верить рассказам людей, собирающих городские сплетни.

Когда друг детства его превосходительства в первый раз явился на новую квартиру его, сей последний встретил его, говорят, с величайшим радушием и повел ему показывать свой анфилады в деталях. Друг детства останавливался в каждой комнате, осматривал ее от потолка до полу и восклицал:

— Дивно хорошо! Сколько капитала, а главное, сколько вкусу потрачено! Вкус-то это, ведь я чай, обойщика?..

— Отчего ж обойщика? — возразил его превосходительство, — я всем, братец, распоряжался сам, — сам выбирал материи, бронзы...

— Полно, ваше превосходительство, морочить, полно! — перебил его друг детства, — откуда нам с тобой такого вельможеского вкуса было набраться. Ведь родословная-то наша не от Рюрика идет, — надо правду гово-

ритель. Предки-то наши не бог знает кто такие были, и воспитаны мы с тобой были на медные гроши, в детстве-то почти что босоногие бегали, да и в юношеском-то возрасте крепко нуждались. Помнишь, как ты у меня шинелишку занимал: у тебя ведь и порядочной шинелишки-то, чем от холоду защититься, не было... Так уж где нам самим этикие палацы мебелировать!

Что отвечал на это его превосходительство, я не знаю; только с этих пор неумолимый друг детства не появлялся в доме его превосходительства.

Ее превосходительство нисколько не изменилась среди новой блестящей обстановки. Она по-прежнему появлялась к обеду в сопровождении почтенной вдовы с райской птицей, которой, по великодушью своему, назначила пенсию в 10 руб. в месяц, и по-прежнему, когда я обедал у его превосходительства, спрашивала меня о здоровье матушки, только уже не просила о засвидетельствовании ей почтения; а его превосходительство хоть и продолжал мне оказывать свое лестное внимание, но сделался несколько серьез-

нее в обращении со мною и не позволял себе прежних шуток. После обеда генеральша отправлялась с райской птицей на свою половину, а генерал удостоивал приглашать нас в свой кабинет, на четверть часа перед сном. Покуривая сигару, он благосклонно выслушивал наши рассказы и иногда изволил улыбаться, когда выслушивал что-нибудь смешное. Нефедьев со своим Станиславом обыкновенно сидел на кончике стула, несмотря на то, что после обеда такая поза не совсем удобна, и, заговаривая, поднимал страшный свист, только и слышалось: "Ваше пр-ство, вы изволили-с, ваше прство" — и проч. Прокофьев, как человек более светский, был несравненно развязнее и свое глубочайшее уважение и совершенную преданность обнаруживал, по своему обыкновению, посредством интонации голоса.

В поклонах его превосходительства произошла также значительная разница. Он при встрече со мной на мой почтительный поклон только слегка покачивал головой, с беглой, едва заметной улыбкой, и уже никогда не останавливал меня на улице, как бывало

прежде. Я и не смел претендовать на большее внимание со стороны его, очень хорошо понимая, что человеку, так высоко поднявшемуся, трудно замечать таких маленьких человечков, как мы. Я был уже доволен тем, что его превосходительство замечает мои поклоны, тем более, что мне было небезызвестно, хоть он никогда не говорил мне этого, что, по его понятиям, человек неслужащий почти синоним человека вредного, ибо его превосходительство воспитан был в тех понятиях, что, кроме коронной службы, всё пустяки и что человек неслужащий непременно должен быть пустой и праздный человек.

О таковых он отзывался с благородным негодованием, справедливо замечая, что праздность есть мать всех пороков, что она порождает вольнодумство и прочее. Заметное охлаждение ко мне его превосходительства в последнее время происходило, может быть, отчасти оттого, что мое свободное обращение в его присутствии, мое неумение садиться на кончик стула, говорить с некоторым замиранием в голосе, слегка приподнимаясь на стуле и тому подобное, его превосходительство

принимал за симптомы вольнодумства.

Его превосходительство принадлежал к старому поколению, которое в этом отношении несравненно взыскательнее и строже нового поколения значительных особ.

Последние также мастерски сумеют показать неизмеримую разницу, существующую между ними и нами; но при них вы можете смело не только сесть на стул, — даже, если вам захочется, положить ногу на ногу; в их присутствии вы даже можете свободно судить обо всем, несмотря на свой ничтожный чин, говорить о злоупотреблениях, о мерах к их исправлению и проч., — они даже и в таком случае не назовут вас вольнодумцем. Вообще вольнодумец — слово обветшалое, совершенно выходящее из употребления. Оно заменилось ныне другим словом — "человек свободномыслящий". В глазах старого поколения значительных особ быть вольнодумцем значило почти то же, что быть уголовным преступником; в глазах нового поколения значительных особ слова "человек свободномыслящий" не имеют такого ужасающего значения; напротив, люди, свободно мыслящие, пользу-

ются даже уважением известных значительных особ как люди умные.

Новое поколение значительных особ и на неслужащего человека смотрит уже без сожаления или без презрения, понимая, что можно быть человеком дельным и полезным отечеству и не занимая никакого коронного места.

До таких истин нельзя, конечно, доходить легко и скоро, и как мне это ни больно, но я не виню его превосходительство за то значительное охлаждение, которое он вследствие вышеизъясненных причин стал обнаруживать ко мне в последнее время.

Двадцатилетнего юношу в чине десятого класса, с каштановыми волосами, с пушком на усах и с розовыми щеками, его превосходительство мог ободрять своим благосклонным покровительством; но когда этот юноша превратился в мужа, когда седина посеребрила его виски, когда на лбу его показались резкие морщины, а на верхней губе длинные усы, которые в штатском его превосходительство принимал почему-то за один из несомненных признаков вольнодумства (если

штатский, носивший усы, не служил прежде в военной службе)... на такого усатого сорокапятилетнего господина, не подвинувшегося ни на полчина и оставшегося в том же роковом десятом классе, его превосходительство, натурально, не мог уже смотреть прежними глазами... К тому же, с своей стороны, усатый сорокапятилетний господин с некоторою уже самостоятельностью и проникнутый чувством человеческого достоинства, несмотря на все глубокое уважение к сану его превосходительства, не мог вести себя относительно его так, как он вел себя прежде мальчишкой, когда у него был пушок на губе и розовые щеки... В наших отношениях (если могут существовать какие-либо отношения между людьми третьего и десятого классов) должно было возникнуть недоразумение, а за недоразумением неизбежно последовало охлаждение. Несмотря на это, я, однако, изредка все еще являлся к его превосходительству, а в светлое Христово воскресенье и в Новый год оставлял в его передней свои карточки.

Я и не подозревал, что эти карточки окончательно вооружат против меня его превос-

ходительство, потому что, как уже мне растолковали впоследствии, несмотря на мои преклонные лета, в слабом чине я не мог оставлять ему карточки (карточки только оставляют равные равным), а должен был расписываться на листе, который лежал в торжественные дни в передней его превосходительства. Эти карточки и еще то, что я никогда не поздравлял ни его превосходительство, ни ее превосходительство с днем их ангела и рождения, утвердили окончательно, кажется, его превосходительство в неисправимости моего вольнодумства...

— Жаль, жаль мне молодого человека, — говорил он про меня одному моему знакомому с карьерой, — душевно жаль... Я не ожидал этого от него... Он с такими какими-то идеями... не служит, отпустил усы, у него какие-то развязные манеры... он вовсе некстати, говоря со мной, размахивает руками... Жаль, очень жаль молодого человека!

Молодой человек! Я грустно вздохнул, выслушав это. Увы! кроме его превосходительства, меня уже никто не называет молодым человеком.

В первый раз, когда его превосходительство увидел меня с усами, он взглянул на меня с благосклонной, но иронической улыбкой и, покачав головой, изволил заметить: "К чему это? это уж напрасно". Но потом, видя мое упорство, ничего никогда более не говорил мне об усах и только смотрел на меня с снисходительным сожалением, постепенно переходившим в некоторую суровость.

Таковы были мои отношения к его превосходительству до той минуты, когда случай заставил меня явиться к нему в виде просителя...

Круг деятельности его превосходительства все расширялся, и он, кроме прежних своих назначений, получил еще новое назначение. В числе новых его подчиненных находился один пятидесятивосьмилетний чиновник-труженик, кормивший многочисленное семейство и старуху мать. Чиновник этот сорок лет служил на одном месте и занимал лет пятнадцать должность столоначальника. Я знал давно и его и его семейство. Он не отличался ни образованием, ни глубиной взглядов, но был трудолюбив, честен, строго испол-

нял свою обязанность и, по единоголосному отзыву всех своих сослуживцев, был весьма полезным чиновником... Прежнее начальство дорожило им. Он получал почти ежегодные вспомоществования из так называемых остаточных сумм, но несмотря на это и на пособия своих дочерей, которые занимались шитьем по заказам, очень нуждался, особенно в последнее время, при увеличившейся дороговизне петербургской жизни. Его звали Кондратием Иванычем Кондратьевым. Кондратий Иваныч никогда не жаловался на свое положение, не ханжил, не заискивал. Честолюбие его не простиралось выше занимаемого им места, и он был в полной уверенности, что умрет на этом месте.

Но его превосходительство, приняв на себя новые обязанности, вознамерился все изменить и переделать в своем новом управлении, не столько по желанию действительных улучшений, сколько потому, чтобы показать миру, что предшественник его был не так деятелен, как он, и не имел таких широких воззрений и соображений, какие имеет он.

Ломка началась страшная. Несколько де-

сятков чиновнических существований вздрогнули за себя и за свои семейства. Его превосходительство беспрестанно изволил говорить: "Я не потерплю этого"... "У меня это не должно быть"... А что такое разумел он под этим, никто не знал... С высоты своей он обратил свое начальническое внимание даже на Кондратия Ивановича, призвал его к себе и лично изволил объявить ему, что по его столу большие упущения. Кондратий Иваныч очень изумился этому, потому что он по совести не знал за собою по службе никаких упущений и с почтительною робостию осмелился заметить это его превосходительству, поставив на вид, что он служит сорок лет в одном ведомстве, пятнадцать лет занимает должность столоначальника и был всегда аттестован с хорошей стороны начальством... Но его превосходительство изволил вскрикнуть: "Мне нет никакого дела до того, как было прежде, но я, сударь, не потерплю никаких упущений, примите ваши меры..." И задал бедному Кондратию Иванычу в три месяца окончить такую работу, которую едва можно было исполнить в полгода. Кондратий Ива-

ныч не спал ночи — и окончил заданную работу к сроку, сдал ее начальнику отделения и ожидал с трепетом решения его превосходительства, скрыв от своего семейства свои служебные неприятности. Начальник отделения через месяц объявил Кондратию Иванычу, что все сделано им не так, как ожидал его превосходительство и что его превосходительство очень недоволен им. У Кондратия Иваныча помутилось в глазах, когда он выслушал свой приговор: он побледнел как смерть...

— Что же это значит? — спросил он у начальника отделения, заикаясь. — Я все исполнил так, как мне было приказано.

— Мне очень больно огорчить вас, — отвечал начальник отделения, — но, кажется, любезный Кондратий Иваныч, его превосходительство прочит кого-то другого на ваше место. Вы должны принять меры.

— Какие же меры? — произнес Кондратий Иваныч, совершенно потерянный. — У меня шесть человек детей, жена, мать... Какие меры?

Кондратий Иваныч в первый раз в тече-

ние своей сорокалетней службы произнес перед начальством имя жены и детей.

— Ну, уж как вы там знаете, — пробормотал начальник отделения, — поверьте, я вхожу в ваше положение... Мне вас очень жалко... но...

— Господи! да что же это? — вскрикнул Кондратий Иваныч, схватив себя за голову, и выбежал вон из департамента.

В это утро солнце против обыкновения ярко освещало Петербург. Невский проспект имел вид совершенно праздничный; в цельных стеклах магазинов светились и играли бронзы, хрустали, драгоценные камни; роскошные экипажи быстро летали по торцовой мостовой; тротуары были полны гуляющими; устрицы только что привезли — и привоз был отличный: устричные раковины валялись у дверей Милютиных лавок для соблазна прохожих; в окнах этих лавок в стеклянных шарах плавали золотые рыбки; грудями были наложены только что привезенные из-за границы чудовищной величины груши и прохладительные освежающие гранаты, на полках расставлены были раздражающие

вкус страсбургские пироги; за дверьми болтались на гвоздиках вестфальские окорока; на каждом шагу встречались пушистые бобры с удивительною проседью, темные, мягкие соболи, драгоценные шелковые ткани на кринолинах, кружева, блонды, цветы, перья... и вся эта роскошь, освещенная солнцем, действовала на глаз еще раздражительнее, чем когда-нибудь.

Но Кондратий Иваныч не видал ничего этого, в глазах бедного чиновника была ночь, непроницаемый, безвыходный мрак, перспектива скорби и голода... Нестерпимая тяжесть гнула его к земле: на плечах его было восемь существ, требовавших одежды, пищи и теплого угла, а пенсия при отставке едва достанет только на одну пищу такого многочисленного семейства... Кондратий Иваныч переходил через улицу, шатаясь, как пьяный; ноги его подламывались; блестящий экипаж Шарлоты Федоровны обрызгал его грязью, а огнедышащие рысаки ее чуть не задавили его. Он еле добрался до дому и слег в постель. Жена его узнала обо всем случившемся с мужем на другой день и прибежала ко мне. На

этой бедной женщине лица не было. Она, заливаясь слезами, передала мне постигшее их несчастье и, зная о моем знакомстве с его превосходительством, умоляла меня съездить к нему и заступиться за ее мужа, упросить его превосходительство, чтоб он не лишил его места.

— Но что же я могу сделать для вас? — возразил я. — Я, точно, знаком с его превосходительством, но неужели вы думаете, что мое ходатайство, как бы оно ни было горячо, может на него подействовать? В глазах его превосходительства я человек ничтожный, незаметный.

Но бедная женщина не слушала моих возражений. Она твердила одно, задыхаясь от слез:

— Съездите, батюшка, попросите, заставьте за себя вечно бога молить! Ведь его превосходительство человек... он отец семейства... расскажите ему о нашем положении, неужели он не войдет в наше положение, не сжадется над нами...

Я был уверен, что не помогу ее горю, но дал ей слово ехать к его превосходительству

и употребить все от меня зависящие средства, чтобы возбудить участие его превосходительства к ее мужу. Я тотчас поехал к его превосходительству и не застал ни его, ни ее превосходительства; в другой раз они меня не приняли. Я решился, не откладывая в дальний ящик, отправиться к нему в то утро, когда он принимает просителей. В первый раз с трепетом я входил в переднюю его превосходительства и в первый раз стоял между его просителями в приемной, вздрагивая каждый раз, когда отворялась заветная дверь в его кабинет.

Дверь эта отворялась и затворялась несколько раз. В нее входили и из нее выходили озабоченные господа с бумагами и портфелями в руках, не без любопытства поглядывая на нас; не раз раздавался звонок из кабинета, и мы думали: "Вот, вот наступает минута..." — но этот звонок призывал какого-нибудь подчиненного; подчиненный вбегал, скрывался за дверью, и снова водворялась тишина... У меня делалось волнение от нетерпения, даже биение сердца; я вставал, прохаживался по комнате, подходил к окну, глядел в окно, садился на стул, снова вставал и проха-

живался, но его превосходительство не появлялся.

— Видно, вы еще новичок, батюшка? — сказал мне со вздохом и с улыбкой один из просителей, сморщенный старичок, заметив мое нетерпение, — а мы уж привыкли к этому, обтерпелись... Его превосходительство изволит назначать прием в десять часов, а раньше двенадцати никогда не выходит. Что ж делать? занят, видно... дел много.

Наконец из кабинета послышался шум отодвигавшегося массивного кресла. На таком кресле никто не мог сидеть, кроме его превосходительства. При этом шуме курьер и чиновник, находившиеся в приемной, пришли в движение. Затем снова раздался звонок, курьер вошел в кабинет и тотчас же вышел, отворяя дверь и взглянув значительно на просителей. Все просители вскочили с своих мест, обдергиваясь. На пороге дверей показался его превосходительство с своим возвышенным челом и орлиным носом.

Я первый раз видел его превосходительство в такую официальную, торжественную минуту. Он был прекрасен. Горделивая осан-

ка, приподнятая голова и несколько надвинутые на глаза брови выражали глубокомыслие и чувство собственного достоинства и внушали в просителях невольное ощущение страха, а несколько нервические, нетерпеливые движения его показывали, что его превосходительство занят важными делами и что ему долго выслушивать просителей нет времени... Изредка он повторял, не глядя, впрочем, на просителя:

— Покороче, покороче, — в чем дело?..

К просительницам он был вообще внимательнее и, выслушивая просьбу одной молодой дамы в прекрасной лиловой шляпке, даже очень приятно улыбнулся.

Когда очередь дошла до меня, его превосходительство, бросив на меня взгляд, в первую минуту обнаружил как будто изумление, потом произнес:

— А, это вы?.. И вы имеете какую-нибудь просьбу?.. Уж не на службу ли определиться хотите?

И при этом его превосходительство изволил улыбнуться иронически.

Я просил его превосходительство о дозво-

лении мне сообщить ему мою просьбу наедине и прибавил, что я не более как на десять минут беспокою его.

Его превосходительство немного нахмурился, однако, по мгновенном размышлении, произнес:

— Очень хорошо-с. Пойдемте ко мне в кабинет.

Я, сколько мог, кратко, но в то же время горячо и убедительно изложил дело, представил ему бедственную картину положения Кондратия Иваныча и в заключение обратился к его великодушному сердцу, к которому ни один страждущий не прибегал тщетно. Это я, впрочем, прибавил только для смягчения его превосходительства и для красоты слога.

В продолжение моей речи его превосходительство несколько раз неприятно подергивало. Когда я кончил, он сказал:

— Все это прекрасно, всему этому я верю, но что же вы хотите?

И, не дав мне рта разинуть, продолжал, постепенно разгораясь:

— Чтобы я оставлял у себя бестолковых и

негодных чиновников потому только, что они народили кучу детей?.. Я не председатель благотворительного общества, и мое ведомство не богадельня! В службе человеколюбие неуместно. Мне нужно не трутней, а деловых людей. Я не потерплю, чтобы под моим ведомством был хотя один винтик слабый или негодный. Вы не служили. Вы этого не знаете... один негодный винтик может повредить действию всей машины. Тут, любезный мой, не фантазии, а дело, практика. И к тому же, признаюсь вам, я не люблю, чтобы вмешивались в мои распоряжения. Я знаю, что делаю... Извините меня, я тут ничего не могу сделать.

Его превосходительство кивнул мне головой в знак того, что он более уже ничего не намерен выслушивать от меня. Несмотря на все мое уважение к званию его превосходительства, при слове любезный мой кровь бросилась мне в голову, и я едва удержался, чтобы не заметить, что такого рода эпитеты он может, если ему угодно, раздавать своим канцелярским служителям и курьерам, а я, как человек, нимало от него не зависящий, не же-

лаю со стороны его превосходительства такого фамильярного обращения, но удержался от такого неуместного замечания и, молча поклонись, вышел из кабинета его.

Участь семейства бедного Кондратия Иваныча сильно тревожила меня, и я, подавив собственное самолюбие, решился сделать еще попытку и отправился к ее превосходительству.

Ее превосходительство приняла меня с свойственною ей сухою благосклонностию и, по обыкновению, спросила о здоровье маменьки.

Я изложил перед нею бедственное положение семейства Кондратия Иваныча, попросил о ее заступничестве у супруга за бедного чиновника и в заключение прибавил, что решился беспокоить ее потому, что мне известно ее нежное и доброе сердце и горячее, христианское участие, которое она принимает в бедных и страждущих. Ее превосходительство отвечала мне, что она очень сожалеет об этом несчастном семействе, что она готова с своей стороны оказать ему пособие по мере сил своих, но что его превосходительству она

говорить ничего не будет, ибо положила себе за правило не вмешиваться в служебные его распоряжения.

Вознамерясь испытать все средства, я отправился к старым друзьям его превосходительства, Нефедьеву и Прокофьеву, думая, не возьмутся ли они ходатайствовать за бедного чиновника.

Но г. Нефедьев просвистал мне, по своему обыкновению, что хотя он и пользуется истари лестным для него благорасположением их пре-ства, но беспокоивать их пре-ства не решится, ибо их пре-ству неприятно, чтобы вмешивались в его дела, беспокоили их и прочее.

Прокофьев сказал мне с ударениями, с повышением и понижением голоса:

— Я с удовольствием взялся бы за это, но его превосходительство человек несовременный, он характера упорного и придерживается служебной рутины; у него свои взгляды на все, совершенно несообразные с нашим образованным девятнадцатым веком.

С ним не стоворишь. Он нашего брата, который, так сказать, отрешился от всех этих

формальностей, и слушать не захочет...

А Брусков, находящийся тут, перебил его, обратившись ко мне:

— Да вы уж лучше отложите попечение, ничего тут сделать нельзя, я вам скажу наотрез. Вы еще больно горячи и прытки, жизнь-то, милостивый государь, вы мало знаете.

Уж на место вашего протеже определен другой... так, какой-то свистун, похожий на парикмахерскую вывеску, женин племянник... Это место-то для него и очищено...

Известное дело: нельзя не порадеть родному человечку... А вы тут лезете ему в глаза с вашим человеколюбием и правосудием!..

Г-н Брусков был прав. Действительно, как я узнал впоследствии, на место Кондратия Иваныча был определен родной племянник супруги его превосходительства, которому еще при этом дана казенная квартира с отоплением, чем не пользовался Кондратий Иваныч...

Некто, оправдывая его превосходительство в моем присутствии, заметил, что нельзя же держать на службе бесполезных чиновников, принимая только в соображение их престаре-

лые лета и многочисленные семейства, что необходимо сокращать штаты и бесполезную переписку, что это теперь а l'ordre du jour. Это совершенно справедливо, а между тем бедного Кондратия Иваныча, который содержал семь душ, — не существует на свете, и чем будут питаться теперь эти семь душ, — неизвестно...

ПЕТЕРБУРГСКИЙ ЛИТЕРАТУРНЫЙ ПРОМЫШЛЕННИК

Э! помилуйте, какие литературные промышленники, — перебил я моего знакомого... (Мой предшествовавший с ним разговор не может быть интересен читателям, и потому я не сообщаю его). — Что вы разумеете под литературным промышленником? Все издатели газет и журналов, по-вашему, литературные промышленники, потому что все они рассчитывают на возможно большее число подписчиков и завлекают их перед подпиской различными заманчивыми объявлениями, разумеется, в надежде больших барышей. В каждом, самом идеальном литературном предприятии есть сторона материальная, промышленная, коммерческая...

— Я это очень хорошо знаю, — перебил меня мой знакомый, — я очень хорошо понимаю, что, может быть, самый честный издатель журнала или газеты, человек с благородными убеждениями, с умом, знаниями, жела-

ет получить наибольшее вознаграждение за свой труд, — это дело понятное; но такой господин не может назваться литературным промышленником, потому что он не загреба-ет жар только чужими руками, не обсчитыва-ет и не обманывает своих талантливых со-трудников, не эксплуатирует ими.

— Поверьте, в настоящее время, — перебил я, в свою очередь, — торговать чужим умом невозможно, даром теперь никто не работает, эти идеальные времена безвозвратно мину-ли, — теперь литературный труд оценивается не дешево... Нет-с, теперь эксплуатировать не только талантливыми, но и бесталантными сотрудниками трудно...

— Тем лучше, — сказал мой знакомый, — но тем не менее литературные промышлен-ники и эксплуататоры существовали и суще-ствуют, только теперь они обезоружены, с прекращением журнальных монополий. В старые годы бывало не так, в старые годы ма-лосовестливый журнальный монополист что хотел делал с своими сотрудниками, потому что от него им уйти было некуда... Да вот я лучше передам вам некоторые материалы

для биографии одного из таких монополистов, — я его коротко знаю.

Из этого вы увидите, что такое я понимаю под литературным промышленником.

Я назову его хоть Петром Васильичем, из скромности, потому что надобно же какни-будь называть человека. Я познакомился с Петром Васильичем через год после приезда его в Петербург. Петр Васильич находился тогда на службе и пользовался уважением нескольких тупоумных господ, которые без уважения к кому бы то ни было существовать не могут... Эти господа говорили про него: "У! да какой он умница, какой ученый!..

Какую он, говорят, статью написал!" Петр Васильич действительно перевел с французского какую-то статейку о каком-то слабом французском философе и долго возился с ней, придавая ей огромное значение и читая ее своим знакомым — имевшим вес в литературе, которым он был представлен именно вследствие этой статейки. В ту эпоху еще литературные, поэтические и ученые репутации доставались у нас очень легко, так что вследствие своей переводной статейки Петр

Васильич прослыл чуть не мудрецом.

Надобно заметить, что этому немало способствовала наружность Петра Васильича.

Выражение лица его было постоянно глубокомысленное, а густые брови несколько на-двигались на большие глаза, в которых, каза-лось, так и сверкал ум. Наружность его была до того обманчива, что, признаюсь, в первые минуты моего знакомства с Петром Васильи-чем я был также уверен, что он человек глу-бокомысленный и ученый... Меня вводили в заблуждение именно эти чудно сверкавшие глаза и эта густая, оттенявшая их бровь... К тому же Петр Васильич, по своей натуре, при-надлежал к так называемым медным лбам, которые этим лбом всегда удачно пробивают себе дорогу; он говорил отрывисто и резко, за-думывался, покачивал строго головою, неред-ко значительно мычал, словом, имел что-то внушающее и действовал сильно, в особенно-сти на прямые, открытые, но слабые характе-ры. Даже впоследствии, когда Петр Васильич совсем обнаружился, он внушал нечто вроде страха людям очень умным и образованным, но робким.

После своей переводной статейки, более или менее сблизившись с известными литераторами, Петр Васильич, делавшийся все смелее и смелее, уже попробовал сочинить статейку и назвал ее "Взгляд на Россию". В этом новом произведении своего пера он доказывал, что Россия — шестая часть света, не имеющая ничего общего с пятью остальными и долженствующая управляться собственными законами, не имеющими ничего общего с общечеловеческими законами. Такая оригинальная мысль, несмотря на свою нелепость, понравилась некоторым. Один из этих некоторых, человек очень почтенный и имевший в то время литературное значение, страстный охотник до всего оригинального, хотя бы во вред здравого смысла, взял Петра Васильича под свою протекцию. Этот почтенный и необыкновенно добродушный господин был первою ступенью к возвышению Петра Васильича. Перешагнув ступенью выше и не имея более надобности в добродушном господине, Петр Васильич взглянул на своего благодетеля свысока и с насмешкою отвернулся от него. Известно, что литературные промыш-

ленники — люди без сердца. Но под защитою его авторитета Петр Васильич начал издавать литературный листок. О цели, о мысли, о направлении издания в то время мало заботились, да, признаться, и заботиться-то об этом было бесполезно. Сам Петр Васильич не знал, во имя чего он будет подвизаться на журнальном поприще, потому что, кроме остроумной мысли, что Россия шестая часть света, и прочее, у него никакой другой мысли в голове не было, да и эта мысль вовсе не была его убеждением, а так, через других, как-то случайно забрела к нему в голову, и он поспешил воспользоваться ею, собственно, для того, чтобы обратить на себя внимание.

Увидев перед собою впервые кучи денег при подписке и груды пакетов с пятью печатями, Петр Васильич затрепетал от внутреннего удовольствия. Мысль нажиться посредством литературы сознательно блеснула перед ним, когда он подрезывал пакеты и жадными, многовыразительными глазами своими пожирал увеличивающуюся кучку ассигнаций. Как человек аккуратный и положительный, Петр Васильич устроил отлично

бухгалтерскую часть, сам вел приходные и расходные книги, не упуская ни одной копейки, и, испытав на опыте прелесть получения и горечь уплаты, мало-помалу начал удерживать от своих сотрудников в пользу собственного кармана сначала копейки, потом рубли, а потом и десятки рублей. Он смотрел на своих сотрудников с некоторым ожесточением и завистью: с ожесточением, потому что им надо было платить деньги; с завистью, потому что его внутренний голос иногда нашептывал ему, что голова его тупа и туга и не способна ни к какому умственному труду. Заглушая этот неделикатный голос, который часто тревожит самые свинцовые натуры в начале их поприща, Петр Васильич в утешение называл своих сотрудников презрительным именем борзописцев, что не мешало ему иногда приписывать себе те из статей борзописцев, которые обращали на себя особенное внимание публики. Удерживать себе частички из вознаграждения, следующего за чужой труд, — дело, конечно, непохвальное и недобросовестное, — но присваивать себе чужую мысль, чужой труд, посягать на ум и позна-

ния ближнего, рядиться в чужие блестящие перья, как ворона в басне, — еще недоброизвестнее, и я упоминаю об этом грустном для человечества факте только потому, чтобы несколько оправдать человека и показать, до чего иногда может довести его несвойственный ему путь и ложное положение, в которое он по необходимости ставит себя на таком пути. Петр Васильич родился для счетов, для ведения конторских книг, для занятия винными откупами или чем-нибудь подобным. Вся цель его жизни, все его убеждения заключались в деньгах.

Какой-то остроумный англичанин уверял, что весь нравственный катехизис американцев заключается в следующем:

Что такое жизнь? — Определенное время для приобретения денег.

Что такое деньги? — Цель жизни.

Что такое человек? — Машина для приобретения денег.

Это был также нравственный катехизис Петра Васильича. Подобно очень многим, он считал только тех людей гениальными и умными, которые приобретали или составляли

себе капиталы какими бы то ни было средствами. Такого рода людей он уважал и внутренне преклонялся перед ними как перед авторитетами. Талант, ум, образование, мысль, без денег и без умения приобретать, он явно презирал бы, если бы не попал случайно на литературную стезю, где и с огромными капиталами, но без таланта, ума, образования и мысли существовать нельзя. Он понимал это; он чувствовал, что ему надобно было какими-нибудь средствами держаться на высоте своего редакторского величия, что для удержания равновесия ему недостаточно было переводной статейки о французском философе и оригинальной о том, что Россия шестая часть света... и он прибегнул к присвоению чужой неведущей собственности — средство печальное и ненадежное, потому что ведь правда рано или поздно должна была открыться...

Но не бросайте в него камня, читатель. Он нес тяжкое нравственное наказание. Вы не знаете, какая страшная пытка без знаний, даже без простой начитанности, без всякого эстетического вкуса, с одними конторскими

способностями, разыгрывать роль литературного судьи, иметь беспрестанные сношения с людьми более или менее талантливыми, начитанными, мыслящими, прикидываться всепонимающим, всезнающим, литератором между литераторами, ученым между учеными и трепетать каждую минуту, чтобы не обнаружить своего безвкусия и невежества; не иметь возможности поддерживать никакого продолжительного серьезного разговора и только от времени до времени повторять с важным видом знатока и с нахмуренными бровями: "Ну да, разумеется, так" или даже просто глубокомысленно мычать!.. Самолюбие, уязвляемое каждую минуту, терзало бедного литературного промышленника и раздражало его желчь, которая, не выливаясь из-под пера, потому что пером он владел плохо, только пятнами выступала на его лице. И какие жалкие меры употреблял, бывало, Петр Васильич для прикрытия своего ничтожества!.. Он заказал себе огромный стол, целое здание необыкновенного устройства с закоулками, башенками, полками, ящичками, и на верхней полке поставил бюст какого-то

немецкого философа, но уввы! и это остроумное изобретение принадлежало не ему, — он видел подобный стол в кабинете какого-то литератора или ученого; в подражание этому ученому или литератору он заказал себе также какой-то необыкновенный домашний костюм, вроде того, который носили средневековые ученые и алхимики; окружил себя различными учеными книгами, которых он никогда не раскрывал и среди такой обстановки с необыкновенною важностию принялся... исправлять грамматические ошибки в корректурных листах!.. Уродливый стол, алхимический костюм, ученые книги, звание редактора и строгий таинственный и глубокомысленный вид, данный ему природою как бы в насмешку, наводили в первое время некоторый страх на литературных новичков, и Петр Васильич, замечая это, успокоивал на время свое самолюбие. Иногда он решался вступать в краткие и неудачные споры с известными литераторами о каких-нибудь литературных явлениях.

— Это славная вещь, что вы ни толкуйте, серьезное произведение, — говорил он, — тут

виден и талант, и наблюдательность, и поэзия... Славная, славная вещь!

— Ничего тут нет, — возражал ему хладнокровно литератор, — произведение это самое посредственное, — и доказывал ему очень ясно, что в этом произведении нет ни таланта, ни наблюдательности, ни поэзии...

— Нет, нет, как можно, — повторял Петр Васильич, — полноте — это прекрасная вещь...

Но обыкновенно через месяц, а иногда и ранее, нимало не смущаясь, об этом самом же произведении и тому же самому литератору слово в слово повторял его мнение, выдавая его за свое собственное.

Такие комические сцены повторялись беспрестанно.

Приобретя чужим умом и собственной аккуратностию небольшие средства, некоторую внешнюю опытность для журнального дела, литературные связи, кредит типографщиков и бумажных фабрикантов и увлекаемый все более и более жаждою приобретения, Петр Васильич затеял обширное издание и вознамерился превратить свой листок в журнал.

Он сообщил мне свои планы.

— Все это прекрасно, — сказал я, выслушав его, — но для этого вам необходимо прежде всего приобрести серьезного и дельного человека, с талантом и убеждениями, который мог бы дать цвет и жизнь вашему журналу. Для такого предприятия недостаточно одного громкого объявления с обещаниями и с бесчисленными именами...

— Да, да, да; это правда, — сказал Петр Васильич, нахмутив брови и кивая головою. — Но я, право, не знаю, кого бы пригласить для этого дела?

Я назвал ему человека, обращавшего на себя в то время всеобщее внимание своей умной, энергической и смелой критикой, своим свободным и самостоятельным взглядом и горячими убеждениями, в короткое время приобретшего жарких защитников и ожесточенных врагов.

Петр Васильич замотал с неудовольствием головою и воскликнул:

— Полноте, как вам не стыдно. Что за охота связываться с мальчишкой, не имеющим никакого прочного знания, с пустым крику-

НОМ...

Этим и кончился наш разговор. Разуверять Петра Васильича было бы бесполезно...

Он начал свое новое издание, выписав для заведования критическим отделом, который считался тогда самым важным отделом в журнале, своего старинного приятеля, писавшего водевили, куплетцы, повести, стишки и рутинные статейки по части теории словесности, которые Петру Васильичу казались серьезными и учеными статьями.

Петр Васильич принял его с чувством и чуть не со слезами, как будущую подпору своего издания, как средство для увеличения своих подписчиков и доходов, и потому с нежностью прижал его к груди своей.

Прошло несколько месяцев: я уехал из Петербурга... Вдруг совершенно неожиданно в один прекрасный день получаю письмо от Петра Васильича...

Знакомый мой остановился на минуту, достал из своего портфеля письмо и подал мне его.

— Вот прочтите, если хотите, — сказал он, — это материал для истории русской жур-

налистики. Я хотел его отослать к М. Н. Лонгинову. В этом письме вы познакомитесь с слогом литературных промышленников. ... "Христа ради, писал Петр Васильич, хлопочите сами и подбейте Н* и П*, чтобы вырвать у Г* (писатель, пользовавшийся в то время огромным успехом) статью для моего журнала. С* сказывал мне, что Г* через месяц будет в Петербурге. Его статья необходима; надобно употребить все средства, чтоб получить ее. Не пишу к нему сам, потому что эти вещи не делаются через письма, особенно с ним. Растолкуйте ему необходимость поддержать мой журнал всеми силами. Если же он сделался равнодушен к судьбам "российской словесности", чего я и ожидаю, покажите ему вперед за статью хорошие деньги, в которых он, верно, очень нуждается. Если ж ничто не возьмет, то надо дожидаться приезда его сюда и напасть на него соединенными силами...

Я теперь ясно вижу, что мой Л* не годится для дела, для которого я его выписал, поговорите с Б* (с тем самым, которого Петр Васильич полгода назад перед этим называл пустым мальчишкой, крикуном), я желал бы пе-

редать ему весь критический отдел: он одушевит журнал, в этом я убежден. Средства мои теперь недостаточны, и я не могу ему предложить более 3500 руб. асс. в год, это максимум; убедите его согласиться. Я буду душевно рад его сотрудничеству, ибо уважаю его. Низкий поклон ему от меня..." — Б* был тогда в стесненных обстоятельствах, — продолжал мой знакомый, когда я кончил письмо и возвратил его улыбаясь, — и должен был согласиться на условия Петра Васильича. Надо заметить, что еще Петр Васильич не успел в эту эпоху вполне обнаружиться, хотя уже было видно, что с ним надо действовать осторожно. Я заметил об этом Б*. "Что же мне делать? — отвечал он, — мне нет другого выхода, как согласиться на его условия, или умереть с голоду; я даже готов идти в сотруднички, не только к нему, но к Ф*, если он согласится принять меня с моими убеждениями, потому что я лучше соглашусь умереть с голоду, чем изменить своим убеждениям".

Дело было решено, и я приехал в Петербург вместе с Б* и в тот же день привез его к Петру Васильичу.

Петр Васильич задолго уже до этого вышел в отставку, чтобы свободнее посвятить себя литературной коммерции. Он лично объяснился с Б*, приняв его, как принимал всех нужных людей, приветливо и ласково, как только мог по своей грубой натуре. С той минуты Б* принялся за труд с свойственной ему горячностью. Несмотря на ничтожную плату, он отдал всего себя труду, положил в него всю свою благородную, горячую душу, работал день и ночь, а Петр Васильич, глядя на него, только ухмылялся и потирал от удовольствия руки, повторяя: "Молодец, ей-богу, молодец, больше печатного листа в день может отмахивать!" И, пользуясь этим, Петр Васильич стал присылать к нему для обзора, кроме серьезных книг, всевозможные книжонки: азбуки, детские грамматикки, сонники и тому подобные, чтобы не платить за них другим. Б* при своем глубоком уме, широком и светлом взгляде, при своей духовной энергии, был совершенный младенец в практической жизни: у него не доставало духу объяснить с Петром Васильичем, что в условие его с ним не входил разбор всяких ничтожных книжо-

нок, что он и без них завален работой.

Просить об увеличении годовой платы ему и в голову не приходило, потому что Петр Васильич беспрестанно жаловался на то, что не может свести даже концы с концами, несмотря на то, что слухи об увеличивающейся подписке на издание его становились все громче и громче... Петр Васильич тотчас же смекнул, что он нашел в новом своем сотруднике клад и что он может эксплуатировать его сколько душе угодно. Подчинись ему совершенно в моральном отношении и позабыв о том, что Россия шестая часть света, долженствующая управляться особыми законами, он, сам не замечая того, начал вслед за Б* повторять его мысли, выдавая их за свои собственные, как будто всегда принадлежавшие ему.

Он даже стал с некоторым ожесточением нападать на тех, чей образ мыслей несколько клонился к тому, что Россия шестая часть света, и почему-то враждебно начал относиться вообще к славянскому племени, повторяя: "Славянин, братец, славянин! Чего ждать от славянина!" Смешно и жалко было смотреть, как он, морально подчиняясь

своему сотруднику, не хотел обнаруживать этой подчиненности перед другими, полагая, что этой очевидной истины никто не подозревает. Когда Б* советовал, например, ему велеть перевести какую-нибудь статью для журнала, — Петр Васильич упирался, хмурил брови, качал головою и говорил: "Это совсем не нужно, это бесполезно, к чему это?" — а через неделю сам говорил Б* о необходимости перевести эту самую статью, как будто мысль об ней ему первому пришла в голову.

С каждым годом журнал Петра Васильича приобретал все больший и больший успех по милости его сотрудника, который вложил в него жизнь, силу и направление, оставаясь неизвестным для большинства публики, потому что имя его никогда не являлось в печати. Вся слава успеха относилась к Петру Васильичу, и даже те немногие, которым была известна тайна редакции, повторяли иногда: "А надобно отдать справедливость Петру Васильичу; он мастер вести журнальное дело!" Эти господа забывали, что он только вел конторские счета и заставлял терпеть всю тяжесть нужды того, которому был обязан

всем — и успехом, и славою, и деньгами; того, который силою своего авторитета и своей энергической, благородной личности, соединил вокруг себя всех молодых писателей того времени. Теперь это покажется баснословным, но все они трудились для журнала Петра Васильича бесплатно, даром, со всею любовью и жаром молодости, поощряемые тем, кого они высоко уважали и ценили, — а Петр Васильич только самодовольно улыбался исподтишка и собирал деньги, беспрестанно жалуясь на безденежье. Петр Васильич постоянно избегал общества сотрудников, потому что в их присутствии и особенно в присутствии Б* он чувствовал себя неловким, уничтожаясь морально, и в утешение себя рассматривал этих безукоризненных служителей мысли, как идеальных пустых мальчишек, годных только на то, чтобы писать даром статьи в его журнал и доставлять ему средства разживаться; он составил свой собственный, задушевный круг из людей дельных, практических, наживавшихся посредством откупов, процентов и других тому подобных промыслов; в этом кругу он царил;

там удивлялись его уму, его образованию, его учености; там он говорил бойко, смело и резко, и все слушали его с благоговением; там он был авторитет, оракул; там все предполагали, что он один сочиняет весь свой журнал или по крайней мере те статьи, которые печатаются в нем без имени; он даже сам любил намякать об этом, повторяя беспрестанно: "Мой журнал, я написал (хотя он ничего не писал), я составил" (хотя он ничего не составлял)... Он так и выставлял собственное я при всяком удобном или неудобном случае — и если когда-нибудь кто-нибудь спрашивал его об Б*, он почти с равнодушным презрением отвечал: "Да он у меня пишет кое-какие статейки".

А он, этот человек, который писал кое-какие статейки — двигал всем и животворил своим духом все издание, а он в поте и крови работал день и ночь, до изнурения своих физических сил!

Я зашел к нему однажды. Он ходил по комнате и размахивал с усилием правой рукою.

— Что это с вами? — спросил я.

— Рука отекла, — отвечал он, — я десять

часов сряду писал не вставая с места. Нет сил больше; за эту плату так работать невозможно. Я весь в долгах, эти долги не дают мне покоя... Наконец я выйду из терпения и объявлю наотрез Петру Васильичу, что он должен мне прибавить, или я откажусь от всего.

Десять раз он входил к Петру Васильичу с этим намерением и уходил с ничем, потому что у него язык не поворачивался. Он проклинал свою глупую совесть и робость и горько смеялся над самим собою.

Наконец в городе начали ходить слухи, что дела Петра Васильича идут великолепно, что он уж капиталец составляет; но когда бескорыстные сотрудники решились после этого объявить Петру Васильичу, что теперь они не намерены более трудиться для его журнала даром и надеются, что он прибавит плату Б*, Петр Васильич изменился в лице, побледнел, пожелтел и забормотал своим грубым, отрывистым голосом: "Что за вздор! Кто это вам сказал?.. Охота вам верить всякому вздору", — и начал клясться, что он еще не все долги уплатил, что он находится все еще в стесненных обстоятельствах и тому подобное, однако

признал необходимость прибавить Б* какую-то ничтожную сумму.

Бескорыстным сотрудникам своим он начал платить только тогда, когда обстоятельства принудили его к этому: в Москве затевался новый журнал, и поговаривали о том, что его разрешат не в пример другим... Те, которые намеревались издавать его, обратились к бескорыстным сотрудникам Петра Васильича, обещая им значительное вознаграждение за труды... Сотрудники показали это письмо своему журнальному антрепренеру. Петр Васильич в этот раз пожелтел еще заметнее, — у него разлилась желчь, и он не шутя призадумался.

— Ну, что за вздор, — забормотал он с свойственной ему мрачностью, — как не стыдно перебегать из одного журнала в другой?.. Полноте, у них там будут свои сотрудники... Надобно уж держаться одного журнала... Что такое... Это недобросовестно!

Добросовестность было любимое слово Петра Васильича, которое почти не сходило у него с языка. Он почитал себя добросовестным издателем в противность какому-то дру-

тому недобросовестному...

— Вы нам не платите ничего за наш труд, а там мы будем получать за него вознаграждение, — возразили сотрудники, — так уж извините...

— Ну, полноте, полноте, — перебил Петр Васильич, — ну, что такое... Я вам буду тоже платить...

— Но вы не заплатите нам таких денег, которые обещают нам в этом письме, — заметили сотрудники, начинавшие уж приобретать практическую опытность.

Петра Васильича покорило, как лист на огне, и из стесненной груди его вырвались глухие слова.

— Ну! ну! пожалуй, я вам заплачу такие же деньги!

Это была минута торжественная. Талант и труд победили в эту минуту антрепренерство и торговлю чужим умом, познаниями и талантом... С тех пор корыстолюбивые литературные промышленники не смеют уже помышлять о даровом, бескорыстном труде в свою пользу...

Когда Петр Васильич окончательно разоб-

лачился, когда маска была сдернута с лица его и Б* решился оставить его издание, Петр Васильич имел смелость печатно уверять публику, что Б* был в его издании так, одним из обыкновенных сотрудников, что его удаление пройдет незамеченным, и прочее в этом роде. Петр Васильич пошел далее: убеждения человека, который дал его журналу мысль и значение, он бесцеремонно усвоил себе, и гордится тем, что служил честно общественному делу. Вот что называется загребать жар чужими руками, вот что такое разумею я под именем литературного промышленника!

БЛАГОНАМЕРЕННЕЙШИЙ ГОСПОДИН

Представляю читателю кое-какие наблюдения, сделанные мною в последнее время.

Из этих наблюдений в моей фантазии составилась очерк целого лица... Лицо это, впрочем, не новое. Таких лиц много не в одном Петербурге. Лица эти, вообще довольно неподвижные и бесцветные, пришли в движение, приняли особенный колорит и заговорили громко только в последнее время, вследствие некоторых обстоятельств, потревоживших их блаженное существование... Я не дам никакого имени моему воображаемому лицу. Пусть каждый из читателей дает ему имя того из своих знакомых, который по характеру, образу воззрения, привычкам и разговорам будет подходить к нему. Его даже можно бы, пожалуй, назвать героем, но только никак не героем нашего времени, потому что он с ужасным ожесточением, почти с пеной у рта, нападает на наше время и вообще на так называемый дух времени, говоря, что этот дух выдуман

выскачками, мальчишками, либералами, людьми зловредными, нахватавшимися безнравственных идей...

Для большей ясности я должен прежде всего познакомить вас с биографией моего воображаемого лица, или, говоря вернее, с его послужным списком... От роду ему шестьдесят три года, он из дворян, служил сначала в военной службе, в сражениях не был, из полка переведен в комиссариатское ведомство, дослужился до генеральского чина, родового имени — ни одной души, благоприобретенных — тысячу пятьсот; два года перед сим уволен по прошению от службы... Наружность его очень обыкновенная, такого рода господ встречаешь у нас сплошь и рядом: рост средний, сложение тучное, лицо полное и круглое, глазки маленькие и заплывшие, зеленоватого цвета, нос плоский, губы толстые — признак доброты, волосы белокурые с проседью, небольшая лысина; голос резкий, манеры величественные, совершенно генеральские... Он пользуется большою любовью, как своих знакомых, так и сослуживцев, которые считают его прекраснейшим, добрейшим

и благонамереннейшим господином... Вследствие этого и я буду также звать его благонамереннейшим господином...

Но чтобы читатель не заподозрил меня в личности и не подумал, что такой формулярный список действительно существует, я покорнейше прошу его придать моему лицу какую угодно физиономию... Он легко может быть пожилым господином, с прекрасным орлиным носом, или сладеньким старичком с покрашенными бровями и бакенбардами, в завитом паричке и с неизмеримым лбом... для меня это совершенно все равно, внешняя оболочка ничего не значит, дело в сущности. Он может вместо благоприобретенных 1500 душ иметь родовых — 300, 500, 600, сколько угодно, более или менее... И я вовсе не поставляю непременно условием, чтобы он был на службе в комиссариате и за два года перед сим был уволенным по прошению от службы... Дело не в этом. Оговорившись, я спокойнее продолжаю: Мой благонамереннейший господин получил воспитание в корпусе... в каком, это для читателя все равно... учился он, собственно, не для приобретения знаний,

а для того, чтобы поскорей выскочить в офицеры. Вышел он в армию, но вскоре переведен в гвардию, не столько за усердие к службе, сколько за величайшую способность угождать начальству, за строгую подчиненность и примерную нравственность. Нравственность эта заключалась в неумолимой строгости относительно подведомственных ему лиц, в раболепной мягкости относительно тех, от которых он зависел, в аккуратности и в безусловном поклонении всем служебным и общественным преданиям. Благонамереннейший господин не рассуждал сам и не позволял рассуждать другим. Никогда ни малейшая мысль не тревожила его головы, и никогда ни малейшее сомнение не колебало его. Сомнение в чем бы то ни было он почитал делом безнравственным и преклонялся перед каждым фактом, как бы этот факт ни был несправедлив, если только он опирался на предания. В капитанском чине он был переведен в комиссариатское ведомство и, действуя на основании предания, не противореча ни в чем принятым обычаям, легко приобрел себе ордена, чины, души, любовь и уваже-

ние своих сослуживцев, своего семейства (ибо он богател с каждым годом) и своих со-членов по клубу (ибо играл по большой).

После службы и хозяйственных распоряжений главным его занятием были карты.

Чтением он не занимался, говорил вообще мало, но иногда одушевлялся, когда разговор касался нравственности или патриотизма... В таких случаях он обыкновенно бил себя в грудь, ударял кулаком по столу и восклицал коротко и ясно: "Тот, кто не патриот, тот просто никуда не годный человек!"...Свои хозяйственные дела он вел примерно и с каждым годом делал какие-нибудь улучшения в своем благоприобретенном имении: выстраивал новый флигель, или баню в готическом вкусе, увеличивал сад, украшал храм божий и тому подобное. Семейство его, состоявшее из жены и двух дочерей, летом всегда проживало в деревне; сам же он приезжал туда на короткое время, потому что служебные обязанности не позволяли ему оставаться долго в деревне.

В часы отдохновения от карт и службы любил он иногда поговорить о своих дворянских достоинствах и преимуществах и не скрывал

своего отвращения к другим классам, не признавая ничего общего между дворянином и человеком просто... В человеке не благородном (благородные, по его мнению, были только дворяне) он не признавал ни возвышенного ума, ни замечательных способностей, ни чувства чести, и однажды, когда при нем один престарелый дворянин-стихотворец задал глубокомысленный вопрос: "Почему в наше время не пишут хороших стихов?..", а другой дворянин, из молодых, шутя отвечал: "Оттого, я полагаю, что нынче больше пишут не дворяне", — то мой благонамереннейший герой, несмотря на то, что вовсе не интересовался поэзией, пришел в такой восторг от этого ответа, что обнял отвечавшего, расцеловал его и воскликнул: "Дельно и правда!" В другой раз, когда кто-то сказал ему, что один профессор на лекции объявил, что дворяне отличаются от простых людей тем, что рождаются с белою костью, — герой мой обнаружил желание познакомиться с этим профессором, несмотря на то, что не питал большого уважения к этому званию...

Да не подумает дворянин-читатель, что я

подсмеиваюсь над чувствами дворянского достоинства. Сохрани меня боже от такой преступной мысли!.. Я был бы в отчаянии, если бы кто-нибудь вздумал заподозрить меня в том, что я не принадлежу к этому почтенному и привилегированному сословию... Но я искренно желал бы для собственной пользы этого, так сказать, передового сословия, чтобы оно поглубже понимало свои обязанности, свой долг и умело бы возбуждать уважение к себе в других сословиях исполнением этого долга, принося вовремя некоторые личные жертвы в пользу общего... "Noblesse oblige".

Но оставим это лирическое отступление и будем продолжать рассказ.

Мой благонамереннейший господин слыл образцовым хозяином, потому что умел извлекать всевозможные выгоды из своих крестьян и при этом свои сады и парки, устроенные домашними средствами, содержал в примерном благолепии и услаждавшей глаз чистоте... Я сам восхищался этими садами и парками, китайскими беседками и мостиками, готической баней и прекраснейшим домом с бельведером, на котором торжественно раз-

вевался флаг с гербом... Внутри дома — порядок и чистота повергали в изумление... нигде ни пылинки; пол как будто языком вылизан, с каким-то янтарным отливом; все подведено под лак и расставлено под аранжир, или симметрически. Военная дисциплина отражалась на всем... Городская квартира его отличалась такою же чистотою, симметричностью и дисциплиной... Все постановлено было в струнку, и все ходило по струнке...

Безмятежно протекала жизнь благонамереннейшего из людей, среди этой внешней чистоты, благоустройства и порядка... в той почетной и покойной колее, попасть в которую все так добиваются и в которой жизнь двигается как будто по маслу: состояние невидимо расширяется, а грудь через каждые два года украшается новым отличием...

"Слава богу! — думал мой благонамереннейший господин, — я почти уже совершил на земле назначение дворянина: достиг генеральского чина, украсил грудь отличиями, приобрел трудами большое состояние и оставлю его детям в благоустройстве и порядке; надеюсь, что им будет чем помянуть ме-

ня!.. Хоть сию минуту готов предстать на суд всевышнего!.." И он продолжал с душевным спокойствием и самодовольствием, резко проявлявшемся на его привлекательном лице, заплывшем от счастья, ежедневно ездить по утрам на службу. Возвратившись со службы, плотно покушав и выкурив трубочку Жукова (его превосходительство был во всем раб привычки и Жуков предпочитал всякому другому табаку), он ложился соснуть часок-другой, а потом, подкрепившись сном, отправлялся в клуб... И думал мой благонамереннейший господин проводить такой регулярный, благонамеренный и ничем не возмутимый образ жизни до той минуты, когда положат его превосходительство на стол и накроют богатой парчою, а вокруг уставят табуреты с знаками отличия... Ему и в голову не приходило, что условия жизни изменяются, что жизнь движется и обновляется, что законы ее совершенствуются, что предания вместе с людьми дряхлеют и наконец разрушаются, что дурные привычки (как, например, привычка наживаться на службе и тому подобное) не всегда остаются безнаказанными...

Но, как гроза разражается иногда над головою незаметно, в тихий и душный летний день, так его превосходительство был поражен, внезапно, посягательством на его служебные привычки, которые он от долговременного употребления почитал почти законными, хотя, между нами сказать, они были совсем беззаконны.

Смущенный увольнением от службы по прошению, благонамереннейший господин, в самом недовольном и мрачном расположении духа, отправился с семейством в деревню. Он беспрестанно повторял: "Вот служил, служил, здоровье потерял, зрение ослабло на службе, а что выслужил?.. Только что могу прокормиться с семейством... вот и всё... Нет, у нас правдой ничего не наживешь на службе! Эту последнюю фразу он повторил еще задолго до остроумной комедии г. Львова... Замечательные умы сходятся, говорит французская пословица... Несмотря, однако, на жалобы о расстройстве здоровья, благонамереннейший господин спал и кушал отлично и раз, в сумерках, несмотря на слабость зрения, заметил издалека, на дворе, две фигуры,

очень нежно разговаривавшие между собою, и тотчас узнал в одной из них своего дворового человека Алексашку, а в другой дворовую девушку Аксютку, за что первый немедленно был им сослан в отдаленную деревню, а последняя удалена на скотный двор — за оскорбление общественной нравственности.

Но в деревне благонамереннейший господин не мог прожить более полугода...

Ничего нет ужаснее, как изменять свои привычки в преклонные лета!.. Его так и тянуло в Петербург: существование его было не полно без клуба...

Он возвратился в Петербург и чуть не заплакал от радости, увидев Демидов переулочек!..

Прошло несколько недель, но, несмотря на клуб, он и в Петербурге начинал ощущать какую-то неловкость... Ему недоставало чего-то... Он не знал, что делать с собою по утрам... даже Жуков не развлекал его... Его просто томила тоска по служебной деятельности.

Приглядываясь к Петербургу, он начал с некоторым неприятным удивлением заме-

чать, что Петербург совсем изменился: особенно его смущали офицеры в фуражках и юнкера на извозчиках, и он печально покачивал головой, вздыхая о прошедшем. В обществе попадался ему иногда какой-нибудь молодой человек, на вид не больше как коллежский асессор, не имеющий ничего особенного в физиономии, просто внимания не стоящий, и он действительно не удостоивал его внимания, — а вдруг ему говорят, что этот молодой человек занимает генеральское, директорское место...

— За кого же вы меня принимаете, чтобы я поверил этому? — восклицал благонамереннейший господин, — директор, у которого еще молоко на губах не обсохло?..

Это забавно!

Но когда он действительно убедился в том, что господин, имеющий вид коллежского асессора, — генерал, тяжелый вздох вырвался из груди его вместе со словами:

"Господи! до чего мы дожили!" — Впрочем, — произнес он после минуты глубокомысленного молчания, — если это какой-нибудь князь или граф, то тут нет ничего мудре-

ного...

Ему отвечали, что это не князь и не граф, а человек вовсе даже не имеющий протекции, но обративший на себя внимание своим умом, способностями, сведениями и поэтому быстро вышедший вперед.

Благонамереннейший человек грустно улыбнулся.

— Прекрасно! прекрасно! — возразил он, — положим даже, что он гений, с неба звезды хватает, да у него никакой опытности нет. Может ли же он быть директором, — тут, я вам скажу, все дело в опытности.

— А вот, ваше превосходительство, — замечают благонамереннейшему господину, — слышно, что места будут давать по способностям, а не за выслугу лет... Тогда, ваше превосходительство, еще более покажется молодых людей на почетных и видных местах.

При этом все жилки на лице благонамереннейшего господина посинели, и во всем лице его обнаружилось на минуту судорожное движение: он, впрочем, подавил в себе внутреннее раздражение и захохотал, но неудержимый гнев вырвался неволью в зву-

как его хохота.

— Ну, что ж, и бесподобно, — воскликнул благонамереннейший господин, — этого только недоставало!.. Наши деды и отцы, видно, не знали, что делали. Мы умнее их!..

Когда какой-нибудь молодой человек свободно рассуждает о чем-нибудь в обществе в присутствии значительных старцев, — мой благонамереннейший господин смотрит на него иронически и пожимает невольно плечами! Он указывает на него и говорит:

— Уж и этот не генерал ли?

Благонамереннейшего господина раздражает все, совершающееся в настоящую минуту; даже и литература, о существовании которой он знал только по "Северной пчеле". До него доходят слухи, что литература вооружается против взяточничества и разных служебных злоупотреблений, — и он кричит, размахивая руками, с чужого голоса:

— Помилуйте, что это такое! на что это похоже! выставлять только одни гадости, одну грязь?.. это всё сочиняют какие-нибудь безнравственные молокососы, зараженные гнусными западными идеями (хотя о западных

идеях он имеет очень смутное понятие, но любит повторять эту фразу), враги отечества, которых следует отдать под строгий полицейский надзор... чего смотрит ценсура-то?..

— Но указывать на зло, выставляя зло на позор... — возражают, — в этом нет ничего дурного, ваше превосходительство. Если бы, например, указали по вашему ведомству на злоупотребление, которое было вам вовсе не известно, которое бы скрывали от вас, вы бы изволили, вероятно, прочитав это, принять меры к искоренению этого злоупотребления и были бы за это очень благодарны сочинителю, избличившему его...

— Это не дело сочинителей указывать на такого рода вещи, — перебивает сухо его превосходительство. — Я не позволил бы какому-нибудь сочинителю учить меня и вмешиваться в мое управление...

— Но, ваше превосходительство, нельзя же совершенно идти против духа времени, — почтительно возражают ему.

— Вот еще выдумали какой-то дух времени! — перебивает благонамереннейший господин, разгорячаясь все более и более, — а

вот заткнуть им глотку, так они и узнают, что такое дух времени...

Всякая мера усовершенствования, улучшения, изменения и нововведения кажется благонамереннейшему господину гибелью... При каждом слухе о таковой мере он сердится, поднимает крик, ударяет кулаком по столу, не находя более убедительных выражений, и даже топает ногами. Семейство не узнает его в последнее время: из человека сговорчивого, весьма довольного собою и даже кроткого он превратился чуть не в зверя: ни жена, ни дочери, ни прислуга ничем угодить ему не могут.

— Что это, милый папа, с вами? Вы такой нынче сердитый и скучный, — говорит ему его любимица меньшая дочь, целуя его в лоб.

— Ах, матушка! — восклицает благонамереннейший господин, — оставь меня, пожалуйста, в покое! — И потом, осматривая ее неблагосклонно с ног до головы, прибавляет: — Ты думаешь, что это хорошо, что вы обручи-то нынче вздумали подкладывать под платья?.. Это гадко, безобразно, и чего это стоит? Ведь это разорение!..

Ты думаешь, что у отца много денег? Да! как же!.. Что скопил служебными трудами и экономией, то теперь и проживай на ваши карнолины!.. (Его превосходительство никак не может произнести кринолин). Вы отца не пожалеете, только пищите: "Денег надо!" — а откуда отцу взять денег?.. Знаешь ли ты, что теперь стоит жить в Петербурге-то? Знаешь ли?.. За все платишь втрое, вчетверо против прежнего... Пришла конечная гибель и разорение!.. А вы еще с вашими карнолинами...

Избалованная дочка бежит в слезах жаловаться маменьке на папеньку, а папенька вымещает гнев свой на прислуге.

Раздается резкий барский свист.

Является лакей.

— Бриться! — кричит благонамереннейший господин.

— Готово, ваше превосходительство, — через минуту докладывает лакей.

Его превосходительство садится за туалетный стол и вдруг вскакивает...

— Что это такое! — восклицает он на весь дом, — Алексашка! поди сюда!.. что это?..

Смотри!.. Куда ты поставил бритвенницу?

Ты двадцать пять лет служишь мне, чучело, а не знаешь того, что бритвенницу надо ставить на правую, а не на левую сторону... а? ты этого не знаешь? ты не знаешь, болван, до сих пор мои привычки; не знаешь того, что я сорок пять лет бреюсь и сорок пять лет мне ставят бритвенницу на правую сторону, а полотенце кладут на левую?! Что у тебя в голове-то? Смотри у меня! Я ведь дурь-то у тебя выбью из головы!..

Является мальчик, одетый казачком, только три месяца перед этим привезенный из деревни.

— Генеральша спрашивает, — говорит он, — поедете ли вы сегодня утром...

Благонамереннейший господин грозно смотрит на казачка.

— Сколько раз я твердил тебе, — говорит он казачку, — чтобы ты не смотрел исподлобья, сколько раз? Ты не можешь мне прямо в глаза смотреть? Экой дрянной мальчишка!.. Я тебя научу смотреть мне прямо в глаза, погоди ты у меня! Все вы, каналы, из рук выбились!.. Пошел вон... Скажи генеральше, что я никуда не еду... И куда мне ехать?.. Зачем мне

ехать?..

— Что это за народец нынче (говорит благонамереннейший господин своему приятелю), — сил недостает справляться с ними! Выписал я из деревни мальчика, привезли его, велел я его позвать в переднюю, чтобы посмотреть; выхожу, смотрю... Не понравился мне, смотрит эдакой букой, исподлобья, грязный, нечесаный... велел я его обмыть, выстричь, вычесать; одели его потом в казакинчик, — ну принял, кажется, человеческий образ, а все смотрит исподлобья... и веришь ли, до сих пор не могу приучить его смотреть мне прямо в глаза... какие меры ни принимал, ничего не помогает. А уж в том не бывать проку, кто смотрит исподлобья! Я это заметил... Задал я ему должность, кажется, не велика: топить печку в маленькой гостиной моей да прибирать ее. Там, ты знаешь, у меня на мебели... дочери вышили по канве... цветы и птицы... На одном стуле — птицы, а на другом — цветы. Вот я и говорю ему: "Смотри, когда будешь убирать, ставь стулья так, чтобы цветы были с цветами, а птицы с птицами... слышишь?.." Что ж бы вы думали?.. ничего не бы-

вало; вечно, каналья, перемешает: цветы рядом с птицами, а птицы с цветами поставит... Извольте с эдаким народцем возиться: четырнадцатилетнему мальчишке в голову ничего вбить нельзя!.. И ведь не потому, чтобы он не понимал, — нет, просто потому, что не хочет, нет усердия, желанья угодить барину, чувства нет... Я ведь помню, как прежде люди служили — только и думали о том, чтобы сделать барину что-нибудь угодное, смотрели ему в глаза, чтобы предупредить его желание... а нынче — это ни на что не похоже... Занемог у меня на прошедшей неделе камердинер, другие люди все своим делом заняты, я не хотел их отвлекать от дела, и призываю этого мальчишку... "Покуда, я говорю, Алексашка болен, ты будешь исправлять должность моего камердинера", — и смотрю, какое это на него впечатление произведет... Что же? стоит как пень, насупившись и уткнул глаза в пол, никакого выражения в лице, точно как будто я сказал ему: "Принеси стакан воды", — и не чувствует той милости, которую делает ему барин, допуская так близко к себе, а ведь три месяца назад он свиней пас в

деревне!.. Нет, любезнейший друг, в плохие времена живем мы!..

И благонамереннейший господин в заключение, качая головою, испускает глубокий вздох.

Но его превосходительство несправедливо: виноваты не казачок, не прислуга его, которую он десять лет тому назад был очень доволен и которая служит ему с прежним усердием, — всему причиною внутреннее настроение духа его превосходительства; недовольство тем, что с ходом времени совершаются различные перемены и преобразования, которые ему не нравятся... Фуражки, юнкера на извозчиках, молодые генералы, литература, изобличающая взяточников, — все это мешает ему жить... Он, кажется, готов бы, если можно, с бешенством броситься на время, схватить его за шиворот, как подчиненного, и остановить. Ему бы хотелось, чтобы это неудержимое, бог знает для чего, так быстро бегущее время — всеоживляющее и всеобновляющее... замерло и окоченело в том положении, в каком оно было несколько лет назад тому, — в те дни, когда перед ним вытягива-

лись в струнку писаря, курьеры и чиновники; когда все было шито и крыто; когда он чувствовал свою силу, ощущал, что он не просто генерал в отставке, на которого никто не обращает внимания, а особа, приводящая в трепет и замирание несколько десятков людей!

О! если его превосходительство и несправедлив к настоящему времени... не сердитесь на него за это, лучше пожалейте его!.. Не раздражайте его вашими литературными выходками! Хорошо еще, что он не читает ничего, но ведь ему могут прочесть добрые приятели... Оговорка, что такого лица нет в действительности, нисколько не помогает... подобным оговоркам никто верить не хочет. В вашей фантазии, в вымышленном вами лице... непременно тысячи лиц узнают своих приятелей... "Списан как живой! Все его слова, все выражения, просто вылитый!" — начнут кричать эти господа и развезут по городу приятную новость, что Александр Петрович или Григорий Иванович выставлен в такой-то книжке такого-то журнала... И кончится тем, что даже сам Александр Петрович, нисколько не похожий на выставленное лицо, поверит,

что его списали, хотя ни он сочинителя, ни его сочинитель отроду никогда не видывал!..

В этих случаях надобно быть чрезвычайно осторожным. Очень легко можно совсем свести с ума человека, уверив, что его описали... Не шутите с этим; говорят, бывали и такие примеры!..

Но как бы то ни было, дело сделано — и я продолжаю...

Недовольство настоящим моего благонамереннейшего лица возрастало с каждым днем и наконец достигло крайних пределов при одной из последних улучшительных мер, задевшей его за живое.

Когда только носился об этом слух, он не хотел верить и затыкал уши...

— Перестаньте, перестаньте!.. — говорил он, — вздор!.. этого быть не может!.. Я и слушать не хочу...

Когда же слух осуществился и сомневаться уже было невозможно, — в первую минуту он остолбенел и неподвижно простоял несколько времени, как-то дико вытаращив глаза. Вся кровь вдруг прилила к его темени, и лицо приняло жаркий, пурпуровый колорит, ко-

торый на картине бы показался невозможным... Минута — и может быть, — смертельный удар был бы неизбежен, если бы не случайно находившийся тут доктор...

Доктор бросился на него с ланцетом и пустил кровь.

После трех чашек густой, черной, запекшейся крови благонамереннейший господин отошел и посмотрел кругом более мягким взором, произнеся:

— Боже мой, боже мой!.. Что же это наконец?.. Ночь он, однако, провел довольно покойно.

Но на следующее утро снова пришел в состояние неслыханного раздражения, ударял кулаком по столу и произносил совсем нескладные и отрывистые речи, обращаясь к жене и дочерям:

— Теперь, матушка, кончено!.. Все прихоти выбить из головы... я не знаю, что будет... может, есть нечего будет... очень легко!.. Надо ко всему приготовиться... вот живешь, живешь и доживешь до эдакого... Теперь карнолины — мое почтение... Ситцевое платье — попросту, без затей — вот и все!

Несколько дней после этого благонамереннейший господин даже не ездил в клуб и не играл в карты...

Он заперся в своем кабинете.

Из этого кабинета раздавались иногда восклицания, знакомые удары кулаком по столу, шаги и говор. Но никто не смел войти туда. Благонамереннейший господин выходил оттуда только к завтраку и к обеду... Кушал довольно аппетитно, но вел себя странно: был задумчив, говорил вообще мало, а если и говорил, то нескладно и не обращаясь ни к кому.

— Вот теперь кулебяка с сигом... майонезы... фрикасе разные... а там что?.. зубы на полку... щи... каша. И за что? Вот сорок лет и служи отечеству...

Генеральша с боязливым участием взглядывала на генерала.

— Что такое, друг мой? — решалась замечать она, — что ты говоришь?.. И отчего ты такой странный, голубчик?

— Ничего... я ничего... Что такое? — перебивал он вздрагивая, — тсс!.. тсс!.. — и он начинал делать супруге многозначительные

знаки глазами, указывая на казачка и на людей, служивших за столом.

При выходе из-за стола он наклонился к уху супруги и шептал:

— Ах, какая ты неосторожная!.. как это можно!.. при людях!..

Проходя мимо казачка, его превосходительство пристально взглядывал на него и потом шепотом говорил дочери:

— Ты заметила, как он на меня смотрит?.. Еще диче прежнего... это я понимаю, что такое...

Такое поведение благонамереннейшего господина и такие странные речи не могли испугать его семейства. Супруга и дочери его передали все это домашнему доктору.

Доктор улыбнулся и сказал:

— Это ничего, — пройдет... Я знаю, что всякое новое положение, всякая перемена, покуда он с нею не освоится, действует на него тяжело... У него мало восприимчивости в натуре. Ему надо рассеяние; я посоветую ему...

Доктор вошел в его кабинет. Благонамереннейший господин сидел у своего письменного стола, опустив печально голову, с безна-

дежным выражением в лице.

— Ну, что, ваше превосходительство, как ваше здоровье?.. как, идут ваши клубные дела... Хорошо?..

Доктор произнес это веселым и фамильярным тоном, потому что он сам был генерал.

— Ааа! — воскликнул благонамереннейший господин, услышав голос доктора, — здравствуйте, почтеннейший Ардальон Петрович!.. Ну что, батюшка?! до чего мы дожили! — прибавил он печально и после минуты молчания продолжал: — Клубные дела!..

Какие теперь клубные дела!.. Нет, вы лучше подумайте об этом: ведь у меня в деревне сад, парк, дом — все это содержалось в исправности, в порядке, собственными средствами...

Чего это мне стоило?.. Зачем же я убивал деньги на все это?..

— И, полноте! Ну что ж, — возразил доктор, — и вы будете всем этим пользоваться...

Вот я к вам когда-нибудь приеду в деревню... Посмотрю, как вы все это там устроили... Я знаю, что вы большой хозяин...

Благонамереннейший господин посмотрел

на доктора, как на сумасшедшего, и сказал:

— Что с вами? Полноте? все пропало... Теперь уж все кончено...

— Э, батюшка... ей-богу, все прекрасно обойдется... поверьте... — перебил доктор. — Да что вы дома-то сидите?.. Вам нужно движение, рассеяние... Поезжайте-ко в клуб сегодня...

Благонамереннейший господин, к удовольствию своего семейства, по собственному побуждению или по совету доктора, вечером поехал в клуб.

При встрече со своими партнерами и друзьями он грустно и значительно пожал им руки и молча покачал головою... Те, в свою очередь, так же печально и молча покачали головами...

— Ах, ах, ах! — вырвалось наконец из груди благонамереннейшего господина.

— Не думали мы дожить до таких времен! — произнес один из друзей его.

— Нет, вот вы посудите... у меня там сад, парк, дом с иголочки... чего это стоило!.. — начал было его превосходительство...

— Сделайте одолжение... нет, уж лучше об

этом не говорить... я не могу об этом говорить хладнокровно, — перебил сморщенный и, по-видимому, значительный старичок в паричке, с покрашенными бакенбардами, дрожа всем телом, — я запретил об этом говорить и у себя дома, — лучше-ка вот займемся этим...

И он указал на зеленый стол, на котором уже горели четыре свечи, лежали прекрасно заостренные мелки и колоды отборных карт.

Еще и до сих пор мой благонамереннейший господин, среди обыкновенного разговора, вдруг прерывая его, начинает как будто заговариваться и произносить слова и фразы, не имеющие между собой никакой связи: "дом... жена... служба... парк... дети... я патриот... генерал, вы сами согласитесь... чего это мне стоило... это невозможно сорок два года службы... Что же это?" Но вообще в последнее время он, слава богу, начал говорить несколько посвязнее... На днях, слушая, с каким бешенством он кричал против всех улучшений и нововведений, я подумал:

"Однако можно ли его теперь называть благонамереннейшим господином?.. Это вопрос... В старые годы он называл неблагона-

меренными и опасными людей недовольных даже петербургскою погодою и дурно отзывавшихся о петербургском климате... На того, кто изъявлял какое-нибудь неудовольствие, хотя против кислой капусты и квасу, он смотрел уже как на врага отечества; того, кто читал книги и с похвалою отзывался о заграничной жизни, он называл либералом... А теперь... Как время-то подшучивает над людьми и как странно меняет роли!.. Кто бы мог поверить пять лет назад тому, что его превосходительство будет принадлежать к недовольным?.. А по его же собственному определению, недовольные принадлежат к людям неблагонамеренным. Во всяком случае, я ни за что на свете не позволю себе называть этим именем его превосходительство.

Вчера один мой знакомый сказывал мне, что его превосходительство со всем семейством изволит отправиться за границу... "Я, говорит, там отдохну от всего и, вероятно, останусь надолго..." — Неужели? — воскликнул я. — Чудеса! Свет решительно начинает идти навыворот..

ВНУК РУССКОГО МИЛЛИОНЕРА Листки из моих петербургских воспоминаний

I

Господина, о котором здесь будет идти речь, я увидел в первый раз, когда мне было лет двенадцать. Он, впрочем, тогда еще не был господином, а ребенком лет девяти, с круглым и полным личиком, с румяными и пушистыми, как у персика, щечками, с белокурыми, вьющимися волосами, с бледно-голубыми глазками, в светло-синей курточке из тончайшего сукна и с отложными батистовыми воротничками от рубашки. Этот прелестный мальчик как будто теперь передо мною, и я живо помню то чувство зависти, которое было возбуждено во мне его курточкой и его рубашкой, потому что сукно на моей курточке было гораздо толще, а рубашки у меня были из полотна также не слишком тонкого. К тому же покрой этой курточки был какой-то

особенный; видно, что она была сшита лучшим детским портным, что, между прочим, доказывали и прекрасные бронзовые пуговицы с узорами, ярко блестевшие на ней. Все это мне мгновенно бросилось в глаза, вероятно потому, что врожденное мне чувство внешней наблюдательности (за которое мне впоследствии так жестоко доставалось в литературе от моих остроумных критиков) развивалось во мне сильно под влиянием воспитания и примеров, окружавших меня. Эта изящная курточка и эта тончайшая рубашка даже несколько оскорбляли меня — и вот по какой причине. Мальчик, который щеголял в ней, не принадлежал к тому привилегированному классу, к которому принадлежу я и которым я уже гордился на тринадцатилетнем возрасте. Он был внучек богатого купца, приехавшего к моему дедушке по каким-то делам.

В ту минуту, когда купец с внучком вошли в кабинет моего дедушки, я был там.

Фигура купца также как будто теперь живая передо мною. Среднего роста, с брюшком, с окладистой седой бородою, с длинными волосами, также совершенно седыми и с сереб-

ряным блеском, с умными, пронизательными глазами, с значительной улыбкою, в которой было что-то среднее между плутоватостию и иронией, с резким ударением на о в разговоре и с обращением, в котором добродушие соединялось с безграничною самоуверенностью; старик этот с первого взгляда производил впечатление.

В нем было в то же время что-то осанистое, патриархальное, внушавшее к нему вдруг невольное уважение; но уважение это несколько умалялось, когда вы ближе вглядывались в старика, потому что сквозь эту патриархальность иногда проглядывали в нем гостинодворские уловки, неприятно действовавшие. Все эти наблюдения я сделал уже, разумеется, впоследствии, в возрасте более зрелом, когда случай, о котором здесь упоминать не для чего, свел меня снова с этим стариком; когда же я увидел его в первый раз, меня просто, без всяких размышлений, поразила его значительная фигура, с серебряными волосами и главное — борода; потому что гостей с бородами никогда у нас в доме не было. На старике был длинный двубортный синий

сюртук, до половины прикрывавший его высокие сапоги; белый галстук обматывал его шею, отягченную медалями на разноцветных лентах, и из-за сюртука, на котором был пришит крест, виднелся белый жилет... Я заметил все эти подробности, хотя внимание мое сосредоточивалось с большим любопытством на внучке купца. Чем более я смотрел на него, тем сильнее оскорбляла меня его щегольская куртка и батистовая рубашка: мое дворянское самолюбие оскорблялось мыслию, что я одет хуже купеческого сына. "Мой дедушка — генерал, а его дедушка — бородач, — думал я, — и, несмотря на это, у меня и рубашка и курточка толще!" И, огорченный этою мыслию, я посматривал на мальчика свысока, с такой гордостью, от которой мне даже теперь становится стыдно. Я хотел дать ему почувствовать, что если он одет и лучше меня, то все-таки он ни в каком случае не может стать со мною наравне.

Между тем купец, — с которым дедушка обращался с большим уважением и которого он посадил в кресла, — улыбаясь с своим несколько плутовским выражением и поло-

жив руку на голову внучку, держал такую речь моему дедушке:

— Я привез к тебе внучка своего показать, ваше превосходительство, — посмотри, какой он у меня славный мальчик: это мой наследник. Познакомь его с твоим внучком, — пусть они побалуют, позабавятся вместе. Ведь он у меня ученый: по-французскому уж болтает, по-аглицки учится. Я не жалею денег на его воспитание, — хочу, чтобы он все науки прошел; хочу потом послать его в Англию, во Францию — пусть все видит, пусть научится на месте, как там у них коммерция идет. Конечно, коли так говорить, вот я и простой мужик с бородой, а веду и заграничные дела и нажил, благодаря бога, порядочный капиталец. Коли здесь есть (старик ткнул себя пальцем в лоб), так оно, пожалуй, что и без науки обойдтись можно. Ну, господь, вестимо, не лишил меня здравого смысла, оттого я теперь, даром что мужик, а сижу с тобой — генералом и разговариваю, будто ни в чем не бывало, как равный.

Дедушка мой улыбнулся и перебил:

— Что об этом говорить, Прохор Кононыч,

у тебя в мизинце больше ума, чем у иного генерала в голове.

Прохор Кононыч улыбнулся на эту любезность светло, открыто и самодовольно и заметил:

— Ну это, ваше превосходительство, все от бога: не дал бы он ума, был бы дураком... Но я, вишь, речь-то к тому веду, что ум хорошая вещь, ни слова, но без ученьято иногда все как будто чувствуешь, что чего-то не хватает; это я по опыту знаю. Вот что.

Старик серьезно покачал головою.

— Что ни болтает там наш брат, — а без ученья — все не то. Это уж я тебе говорю — поверь так.

И при этом Прохор Кононыч утвердительно ударил ладонью по столу.

— Оттого я и хочу, чтобы мальчуган мой науку выучил. Ты не думай, чтобы я прочил его в дворяне, чтобы то есть эдакое у меня помышление было втайне. Оборони господи от этого! Он должен оставаться в своем, в торговом сословии! нам в чужие сани не след лезть, а для коммерции-то наука, еще, чай, важней, чем для дворянства. Правду ли я го-

ворю, ваше превосходительство?

— Разумеется, Прохор Кононыч, — возразил дедушка, — недаром и пословица: ученье свет, неученье тьма. Ученье для всех классов необходимо.

— Только дай бог, чтобы ученье-то ему впрок пошло! — произнес в раздумье Прохор Кононыч, глядя на внука и качая головою. — Вот тебе Христос, — и при этом он перекрестился, — полсостояния бы отдал, только бы из него порядочный, дельный человек вышел, — я его крепко люблю. Ведь он у меня один, сына-то моего, отца-то его, бог взял, — ну, что ж делать? Его святая воля, а дочери — что! Дочерей я не считаю. Они отрезанные ломти...

Потом Прохор Кононыч обратился ко мне и посмотрел на меня.

— А сколько твоему внучку-то годков, — спросил он дедушку, — не однолетки ли они с моим-то?

— Моему двенадцать скоро будет, — отвечал дедушка.

— Вот как! так он еще, значит, тремя годками старше моего, а мой-то на глаз, пожалуй,

еще постарше покажется: вишь, он у меня какой плотный, солидный... А как зовут твоего-то?

— Иваном.

— Ну, Ванюшка, поди, душенька, поиграй с моим Васей, познакомьтесь, познакомьтесь.

И при этом Прохор Кононыч положил свою толстую, жилистую руку с плоскими пальцами на мою голову.

Ласка эта мне не совсем понравилась, и я сделал было движение, чтобы высвободиться из-под его руки.

Дедушка украдкой и слегка покачал мне головою, немного нахмутив брови, и я остался на месте.

— Поди, друг мой, в детскую, — сказал мне дедушка, — и возьми с собой гостя: покажи ему свои игрушки, займи его, — а мы покуда поговорим об делах.

Я не смел послушаться дедушки, я очень любил его и боялся огорчить его — и потому тотчас взял за руку купеческого внука и повел его в свою комнату, хотя мне было несколько досадно на дедушку за то, что он приказывал мне занимать этого мальчика и

назвал его моим гостем. Мне — дворянину и генеральскому внучку казалось унижительным занимать внучка бородача и обращаться с ним как с равным. "Что же такое, что его дедушка богат? — думал я, — ведь он все-таки из мужиков".

Однако из угождения моему дедушке я старался пересилить себя. Сначала я все еще вел себя несколько свысока, немножко важничал, но детская прямая, чистая и откровенная природа взяла сейчас верх над смешными предрассудками, бессознательно заимствованными у взрослых. Через пять минут я совершенно и без всяких усилий над собою забыл неравенство сословий между мною и Васей. Я разыгрался с ним, как с равным; он было начинал уже мне нравиться. Я выставил перед ним все мои богатства: складные картинки, оловянных солдат, кузницу с кузнецами, поднимавшими и опускавшими молоты — игрушку, которою я особенно хвастал перед всеми приезжавшими к нам детьми, — Робинзона Крузе с картинками и прочее.

Но Вася очень равнодушно, к моему огорчению, смотрел на все это.

— Это дрянные игрушки, — сказал он, — приезжайте к нам, я вам покажу свои: у меня хорошие, дорогие игрушки, дедушка ничего не жалеет для меня. Он недавно мне подарил игрушку, заплатил сто рублей, большая такая: дом с башнями и с садом, в саду маленькие кареты ездят и люди ходят, а в домике — диваны, кресла, а на кухне повара кушанье готовят. На ваши игрушки и смотреть не стоит.

Вася оскорбил мое самолюбие. Я надулся и снова принял важный вид.

— А что, у вас есть карета? — спросил меня Вася.

— Еще бы! у нас не одна, а две кареты — одна двухместная, а другая четверместная, — у нас есть и коляска, и дрожки, и сани. Ведь мой дедушка генерал! Он ездит четверней с фореитором, а ваш дедушка так ездить не может, потому что четверней ездят только генералы, — прибавил я с торжеством.

— А у вас нет рысаков? — сказал Вася.

— Каких рысаков? Что это за рысаки?

Я в первый раз слышал это слово.

— Рысаки шибко бегут, всех обгоняют, мой

дедушка и вашего дедушку обгонит. Да у вас и комнаты нехорошие, а у нас большие-большие, и часы с золотыми мальчиками, и золотые подсвечники, все золотое, и цветы на всех окнах, к нам генералы со звездами и с лентами ездят обедать, а у вашего дедушки нет ленты.

— Нет, есть, — отвечал я, раздражаемый все более и более, — у него красная лента через плечо, и звезды, и много-много крестов!..

— А отчего же он не сидит в ленте?

— Дома не надевают ни крестов, ни лент, — отвечал я, — кресты и ленты надевают только в гости.

— А мой дедушка и дома крест носит, видите ли?.. Дедушка мой богатый-богатый, у вашего дедушки нет столько денег. У моего дедушки миллион есть, еще больше, у нас не четверня, а пятнадцать лошадей на конюшне стоит; мой дедушка на всех может ездить.

Это будет все мое. Мамаша говорит, что я буду больше, чем дворянин.

Моя дворянская кровь бросилась мне в голову при этом слове. Я вспыхнул.

— Ваша мамаша неправду говорит, — отве-

чал я с достоинством, — дедушка мой генерал, и я буду генерал (увы! мечты моего детства не сбылись!), а вы не будете генералом. Вы будете с бородой ходить, как ваш дедушка.

Вася обиделся.

— Не хочу я с бородой ходить, — произнес он почти сквозь слезы, — мамаша мне сказала, что я не буду с бородой ходить.

Я был доволен, что уязвил Васю. Чтобы дать сильнее почувствовать ему, какая разница между дворянином и купцом, я заговорил с ним по-французски, полагая, что на французском языке могут говорить только одни дворяне.

Вася произнес также несколько слов по-французски, хотя, к моему удовольствию, с трудом и дурным выговором.

— А вот вы и не умеете хорошенько говорить по-французски, — заметил я.

— Умею! — закричал Вася таким голосом, как будто собирался сейчас заплакать.

— Ну, если умеете, так скажите, как по-французски называется печка?

Вася задумался.

Очень довольный собою, я принял роль эк-

заменатора.

Вася отвечал на мои вопросы не совсем удовлетворительно и наконец заплакал.

Мы расстались явно недовольными друг другом.

Когда я после отъезда купца передал мой разговор с Васей дедушке и с насмешкою прибавил: "Он сказал мне, будто бы он будет выше дворянина..." — дедушка с неудовольствием покачал головою.

Я тотчас заметил неприятное впечатление, произведенное на дедушку моим рассказом, хоть не сознавал почему.

— Ведь он сказал это по глупости, дедушка? Как же он может быть выше дворянина? Я ему отвечал; что дворянин может четверней ездить, а он не может... Ведь правда, дедушка? — спросил я уже с некоторою робостью, посмотрев на дедушку с недоумением.

— Кто тебе набивает голову такими пустяками? — отвечал он. — Одним дворянством, мой друг, гордиться нечего, да и вообще гордиться чем бы то ни было и важничать перед кем бы то ни было — нехорошо, и не все ли равно ездить, на четверне или на паре? Ку-

пец может быть поумнее иного дворянина, если купец человек честный, если он говорит всегда правду, ведет свои дела аккуратно... Человека украшают его дела, его поступки, а не звания и титула. И купец также служит отечеству, как и дворянин... Вот, например, дедушка этого мальчика, купец, который у меня сейчас был, он человек честный, благородный, умный, весьма уважаемый, и не за то только, что он богат, а за то, что он честен. Его одному слову верят более, чем клятвам и подписям иных значительных лиц.

Если внучек пойдет по его следам, то его будут так же уважать, как старика. Ты замети однажды навсегда, что уважение приобретается трудолюбием, честностью, прямою, а не званием, потому, что благородное звание или громкий титул без внутреннего благородства одно пустое слово! Гордятся бессмысленно своим происхождением только пустые, глупые и ничтожные люди. Прочти-ка, дружок, басню Крылова «Гуси», ты это лучше поймешь...

Через несколько дней после этого дедушка повез меня к Прохору Кононычу.

— Вот, — сказал он, входя к старику, — и я к вам с моим внучком. Он приехал сделать визит вашему внучку...

Вася не солгал. Квартира Прохора Кононыча была несравненно лучше и больше нашей квартиры и украшена несравненно богаче. Меня в особенности поразила огромная зала с хорами и двумя большими люстрами, с потолком, расписанным амурами, в которой Прохор Кононыч, как я узнал впоследствии, задавал банкеты различным знатым и сановным особам. Прохор Кононыч был не лишен тщеславия и любил видеть у себя в гостях ордена и звезды. Некоторые ордена и звезды, говорят, пользовались даже слабостью доброго Прохора Кононыча, часто сами напрашивались к нему на обеды и объедались и упивались у него вдоволь, вознаграждая хозяина, или, вернее сказать, его зрение — блеском своих шейных и особенно грудных украшений. Комната Васи была завалена не виданными мною игрушками. Как я ни усиливался казаться равнодушным, но при виде домов, башен, садов с движущимися людьми и экипажами, и при звуках малень-

кой ручной шарманки я едва удержался, чтобы не ахнуть. Все это грудами было навалено в комнате и покрыто слоем пыли. В комнате Васи, когда я вошел в нее, был гувернер его, француз-щеголь, няня с сморщенным лицом и двуличневым платком на голове, девка, обутая на босую ногу, и грязный мальчишка, обстриженный в кружок. Вася мало обращал на меня внимания, он более занимался собачонкой испанской породы, к хвосту которой он привязал шнурок и дергал ее за этот шнурок. Собачонка визжала, Вася кричал на мальчишку, гувернер кричал на Васю, который его не слушал, няня кричала на босоногую девку. Я совсем растерялся в этом хаосе... Через минуту Вася выпустил несчастную собачонку, схватил большую куклу, представлявшую улана, и показал ее мне.

— Какова кукла? — спросил он у меня.

— Славная, — отвечал я.

— А хотите, я ей сейчас голову сломя? мне дедушка другую купит.

И с этими словами шея куклы затрещала, и голова с кивером покатилась на пол...

Вскоре за этим дедушка прислал за мною,

и мы уехали.

Более меня не возили к Васе, Вася не приезжал ко мне, и я забыл о его существовании...

II

Лет через тринадцать после этого я обедал в одном из самых известных петербургских ресторанов с моим товарищем по школе, с добродушнейшим и милейшим из людей, который без разбора был знаком со всею петербургскою молодежью, всем радушно жал руки, всем говорил ты и пользовался величайшею популярностью в столице.

Он был одним из неизбежных лиц на всех гуляньях, во всех театрах, маскарадах, танц-классах, везде, где проявляется публичная жизнь, и тотчас со всеми попадавшимися ему лицами заводил знакомства, не разбирая условий и одинаково обращаясь с богатыми и бедными, с высшими и с низшими, с умными и с тупоумными. Он не имел и тени тщеславия, которым почти все мы заражены более или менее, и потому с ним всегда было легко; он сыпал остротами и каламбурами, знал все

петербургские анекдоты, говорил без умолку, был постоянно в веселом расположении духа и умел смеяться не только над другими, что очень легко, но даже над самим собою, что очень трудно. Я не встречал в моей жизни человека, который имел бы такое разнообразное и обширное знакомство, какое имел он. Однажды, в маскараде дворянского собрания, он завел меня в какой-то таинственный уголок покурить. (Он знал везде все уголки и закоулки и по именам лакеев во всех ресторанах и капельдинеров во всех театрах.) В этом уголке мы нашли господина в пестром галстуке и в изношенном фраке с блестящими пуговицами, наружности весьма неблаговидной и притом полупьяного. Господин этот при виде моего товарища с увлечением бросился к нему на шею, поцеловал его и воскликнул:

— Ах, Саша, Саша! как я, братец, рад тебя видеть, то есть не поверишь, как рад.

— Давно не видались... Ну что ты поделываешь? — возразил мой товарищ улыбаясь.

— Живу, душа моя, живу! Известно, что -

*Спящий в гробе мирно спи,
Жизнью пользуйся живущий!*

И господин махнул при этом рукой, посмотрел на меня, пошевелил губами, облизал их и прибавил, ударив моего товарища по плечу:

— Пойдем, братец, выпьем.

Товарищ мой отказался, мы докурили папироски и вышли из угла.

— Откуда, наконец, у тебя такие знакомства, скажи бога ради? — спросил я у него.

Он захохотал.

— А что, ведь недурный экземплярчик?.. это мой друг. Я сошелся с ним на одном презабавном вечере у актера Кронидова. Я ему почему-то понравился, он и предложил мне выпить с ним на «ты». Зачем же мне было оскорблять его? я согласился. Что за беда, что прибавилось одно лишнее «ты»? К тому же он юморист, не шутя. На этом вечере черт знает что происходило и какие рылы были... Уж мне стало страшно, ты можешь себе представить, что такое там было. Я потихоньку уехал, потому что уж начиналось что-то — вроде драки между хозяином и гостем. На другой день в кафе я встречаю этого господина.

— Ну что, — спрашиваю я у него, — ты дол-

го вчера там оставался?

— Да почти что до рассвета, — отвечал он, — после тебя там случилась маленькая неприятность.

— Что такое?

— Одному из гостей рот разодрали. Вышло между ним и другим гостем какое-то неудовольствие, уж из-за чего, не умею сказать... так, недоразумение.

— Ты не смотри на то, — прибавил мне мой товарищ в заключение, — что у него не совсем презентабельная физиономия. Он большой забавник... когда не пьян; жаль только, что он никогда не бывает трезв.

У моего товарища была, между прочим, страсть заводить кружки, во имя чего бы то ни было, и управлять этими кружками. Раз он составил театральный кружок; в другой раз, когда театральство прискучило ему, он составил что-то вроде попечительного комитета о какой-то барышне, которая, бог знает почему-то, ему вдруг понравилась, и он вербовал молодежь в этот комитет, как на дело серьезное... Деятельности-то хочется, а настоящего дела, которому бы легко и весело было

отдаться, у нас нет, так поневоле даже самые лучшие из нас развлекаются пустяками, остаются долго духовно малолетними и играют в игрушки в такие годы, когда в других странах люди подвизаются уже с пользой на гражданском и общественном поприще. Оттого на всех наших лучших людях есть отпечаток, если вы взглянете в них близко, внутренней пустоты и легкомыслия, даже и в тех, которые почитают себя не без основания глубокомысленными. Товарищ мой, впрочем, не прикидывался ничем, он был во всякую данную минуту самим собою.

Развлекая себя разными выдумками, для того только, чтобы чем-нибудь занять себя, и отдаваясь им с увлечением, он не воображал, однако, что занимается делом, как многие...

Другую такую благородную, открытую, прямую природу, какова была у моего приятеля, мне не удавалось встречать в жизни, несмотря на то, что я прожил полжизни. Многие из глубокомысленных легкомысленно называли его пустым, добрым малым, видя его постоянно веселым; они считали его неспособным к мысли и к делу; неспособным ви-

деть себя и задумываться над самим собою; но они жестоко ошибались. На товарища моего нередко находили минуты тяжелого и грустного раздумья, когда человек строго спрашивает у самого себя: сделал ли я хоть что-нибудь, чтобы носить имя человека не как пустое и незаслуженное титло, а по сознанию и праву? И он усиливался бороться с самим собою и с средою, тяготившею его; но эту борьбу видели только самые близкие к нему по сердцу и по убеждениям. Все слабости и недостатки этого человека прилеплялись к нему от этой среды; все прекрасное, благородное и светлое выходило из его чистой и прозрачной натуры, и часто, глядя на него, я думал, что из него мог выйти дельный и серьезный человек, если бы он родился в другой, более широкой среде, в другом, более серьезном обществе...

Увлечшись моими воспоминаниями, — а товарищ мой принадлежит к лучшим моим воспоминаниям, — я, может быть, вдаюсь в излишние подробности, ненужные для этого рассказа. Впрочем, что за беда? Листок из воспоминаний — не художественное произведе-

ние. Я пишу, как пишется, не имея ни малейшей претензии на художественность, на чистое искусство, на творчество и тому подобное.

Говоря откровенно, я даже не совсем понимаю, из чего так хлопочут защитники чистого искусства и художественности? Сколько бы они ни заботились об нас, по доброте души своей, они из нас, простых писателей, не сделают художников, и как бы мы сами ни желали угодить им, как бы мы ни усиливались превратиться в творцов, все наши усилия останутся не только тщетными, но и смешными...

Мы с товарищем начали наш обед вдвоем, но скоро к нам присоединились еще два наших приятеля, или, вернее, приятели моего товарища: полный, высокого роста адъютант, говоривший густым басом, страстный любитель цыган, лошадиный барышник, выпивавший баснословное количество вина, и молодой кавалерийский офицер, с маленькими усиками и с несколько изысканными манерами, военный фат. Товарищ мой, как магнит, привлекает к себе; все так и льнули к

нему, зная, что где он, там всегда весело.

Своим добродушием и симпатичностью он смягчал самых гордых и недоступных господ и заставлял смеяться людей, которые никогда не улыбаются. Обед наш был по милости его очень жив и весел. Из отдельной комнаты, рядом с нами, к концу нашего обеда слышались веселые восклицания, крики и, наконец, женский голос, напевавший всем очень хорошо известные французские куплеты, которые обыкновенно поются, когда общество доходит до известной степени веселости.

— Мишка! кто тут в комнате рядом с нами? — спросил адъютант у служившего нам молодого татарина.

— Заказной обед, ваше сиятельство, — отвечал татарин.

— Тебя, дурак, не спрашивают, какой обед, а кто обедает? — возразил адъютант.

Татарин улыбнулся.

— Господин Пивоваров с приятелями, — сказал он после минуты нерешительности.

— И с приятельницами, — прибавил адъютант.

— Это, наверно, Луиза, это ее голос, — ска-

зал изнеженный офицер, поводя рукой по своим усикам.

— Что это за Луиза? — спросил грубо адъютант, искоса взглянув на изнеженного офицера.

— Как будто вы не знаете? — отвечал он по-французски, — та, которая жила с Границыным.

— Я, батюшка, с вашими француженками знакомства не веду. Черт бы их побрал!

Этой сволочи здесь много... А этот Пивоваров, кажется, уж начинает покучивать на будущие блага, на капиталы бородача — своего дедушки!

"Э! — подумал я, — да это должен быть мой старый знакомый Вася".

— Терпеть не могу, — продолжал адъютант, — этих купчиков-франтов... Саша, ты знаком с ними? Ведь ты со всем миром знаком?.. а?

Адъютант обратился к моему товарищу.

— Это мой друг, — отвечал он улыбаясь.

— Ну уж коли твой друг, так должен быть хорош. Знаю я твоих друзей-то! У него, я вам скажу, такие друзья, — продолжал адъютант,

обращаясь ко мне, — с которыми ночью не дай бог встретиться. А майор Астафьев что?

— Что же, — ничего. Он не друг мой, а только protege.

— Хорошо протеже! Из кабака не выходит!.. Полно скрывать-то, признайся, ведь вы ку-тите вместе.

И адъютант при этой шутке любезно улыбнулся.

— Ты не смейся над майором Астафьевым, — возразил мой товарищ, — это милейший и забавнейший из людей; в свое цветущее время он был седюктёром и франтом, у него еще и теперь остались следы этого; несмотря на то, что у него вся физиономия отекала и налилась, он все еще иногда завивает виски и фабрит усы; манеры у него до сих пор, когда он не очень пьян, самые галантерейные, он беспрестанно отпускает французские фразы: экскузе пур деранже или вроде этого, носит фуражку набекрень и выставляет локти вперед, словом, он мил необыкновенно. Ты бы посмотрел, как он расшаркивается перед дамами!..

— И он этому пьянчужке, за то что он да-

мам хорошо раскланивается, пенсию выхлопотал! — перебил адъютант, посмотрев на нас.

— Что ж такое? Я и тебе выхлопочу пенсию, когда ты сопьешься, — возразил мой товарищ.

Адъютант захохотал, ударил его по плечу и воскликнул: "Ах ты, Сашка!" — вероятно, за неимением более остроумного восклицания.

— А знаете, — сказал изнеженный офицер, прищуривая глазки, — у этого господина, который возле нас обедает... как вы его зовете?..

Офицер остановился, как будто вспоминая фамилию. Адъютант сурово посмотрел на него и сказал:

— Пивоваров... К чему перед нами тону-то задавать: ведь вы очень хорошо помните его фамилию.

Изнеженный офицер несколько смутился.

— Pardon, я, право... — отвечал он, запинаясь, — в самом деле я забыл его фамилию... да... так у него... вы видели, серый рысак, чудо! первый в городе!

— Точно, что лошадь добрая, — возразил адъютант, — я его по этой лошади-то и знаю.

Да что, он охотник, что ли, до лошадей? Ты, Саша, должен это знать в качестве его друга.

— Какое — охотник! Он, кажется, столько же толку знает в лошадях, сколько я...

— Ну, это немного, — перебил адъютант.

— Ему сказали, что первый рысак в городе продается, — продолжал мой товарищ, — так он сейчас и купил его для того, чтобы весь город кричал, что у него первый рысак и чтобы прохожие по Невскому разевали рты от удивления, когда он летает на нем сломя голову, а кучер его как безумный кричит во все горло: "Пади! пади!" Все это, батюшка, делается из тщеславия. Какая-нибудь Луиза сделает ему или его рысаку глазки — он на целый день и счастлив. Ему хочется во что бы то ни стало, чтобы его замечали и чтобы об нем говорили. Хоть он мой друг, но я должен по справедливости заметить, что из него большого толку не выйдет. Из него вырабатывается настоящий тип и в огромном размере, — потому что он наследует миллионы, — этих кутил-купчиков, которых развелось у нас так много. Они все воображают, что их деды и отцы нажива-

ли и скопляли капиталы для того только, чтобы они их глупо проматывали, и что они умнее и образованнее своих отцов и дедов, потому что одеты по последней парижской картинке.

— Ты меня, братец, познакомь с ним, — перебил адъютант, — не продаст ли он эту лошадь? я бы у него, пожалуй, купил ее, или, пожалуй, мы променялись бы; я бы дал ему славного рысака, не хуже его... так же бы разевали рты, когда бы он на нем прокатывался по Невскому... А что, он любит выпить?

— Пьет сильно и также из хвастовства.

— Ну, это хорошо, — заметил адъютант, — пошли-ка за ним Мишку... пусть он его вызовет оттуда на минутку от твоего имени, а как он придет сюда, ты его познакомь со мною.

— Пожалуй.

Мишка был послан за Пивоваровым.

Господин Пивоваров не заставлял себя долго ждать.

Я не без любопытства посмотрел на него, когда он вошел в нашу комнату. Ни одной черты от детства не осталось у него. Он был худощав и бледен, все лицо его было в угрях,

глаза, которые были голубыми в детстве, побледнели и превратились почти в серые, они были выпуклыми и имели мало выражения; белокурые его волосы были завиты и тщательно расчесаны, точно как будто сейчас выскочил из парикмахерской; одет он был франтовски, но без вкуса: в бархатном клетчатом пестром жилете и в пестром галстуке, на одном из его пальцев было колечко с большим брильянтом; он казался очень занятым своею особою и как будто постоянно думал о том, какое впечатление он производит на зрителей: понравился ли им его жилет? обратили ли они внимание на его брильянт?.. нашли ли хорошими его манеры? и прочее. От этого он был не совсем ловок и как-то стеснен в своих движениях.

— Я узнал, что ты здесь, и хотел тебя видеть хоть на минутку, — сказал мой товарищ, — извини, что я тебя вызвал.

— Помилуй... ничего... я очень рад, — отвечал внук миллионера, охорашиваясь и поглядывая на нас.

— Хочешь шампанского?

Товарищ мой налил бокал и поднес ему.

— Мерси... — Внук миллионера взял бокал и прибавил: — я, впрочем, уж так много пил! Мы здесь обедаем вчетвером и уж выпили бутылок восемь.

— Ничего, это не вредно! — заметил адъютант.

— Ах, кстати, — сказал мой товарищ, указывая на адъютанта, — вот князь Ртищев. Он желает с тобою познакомиться... — Пивоваров, — прибавил он, указывая на внука миллионера.

Адъютант протянул ему свою широкую руку. При имени князя лицо внука миллионера вдруг просветлело.

Он произнес не без волнения: "Очень рад, очень рад!" — и поспешил вложить свою руку с брильянтом в руку адъютанта с ощущением наслаждения, которое выразилось во всей его фигуре и бросилось бы в глаза даже и не наблюдательному человеку.

— Посидите-ко с нами, — сказал адъютант, слегка придвинув к себе стул и указав на него внуку миллионера.

Он сел.

— Бутылку редерера и чистый стакан! —

крикнул адъютант.

Он налил полный стакан ему и себе и сказал:

— Ну, чокнемтесь.

Внук миллионера взял стакан, чокнулся с адъютантом, отпил немного и поставил стакан на стол.

— Это что! — воскликнул адъютант, — со мной эдак не пьют, батюшка, нет! этого я не люблю.

Внук миллионера начал извиняться и отговариваться восьмью бутылками, выпитыми вчетвером.

— Мне до ваших восьми бутылок никакого дела нет. Я предлагаю вам выпить со мной.

Внук миллионера выпил стакан.

Через десять минут в бутылке не осталось ни капли, хотя ни я, ни товарищ мой, ни изнеженный офицер не пили. Глаза у внука миллионера совсем посоловели, он уж совершенно дружески разговаривал с адъютантом и, кажется, даже выпил с ним на ты.

Адъютант ловко завел с ним речь о лошадях. Внук миллионера начал хвастать своим рысаком, адъютант возражал, что действи-

тельно это лошадь хорошая, но вовсе не из первых в городе; что у него есть гнедой рысак, который не хуже, если не лучше, и в заключение пригласил к себе внука миллионера на другой день посмотреть его.

Внук миллионера вышел от нас, кажется, совершенно счастливый мыслию, что известность его растет с каждым днем и что им даже начинают интересоваться князья, и совершенно пьяный, потому что он даже спотыкался и пошатывался.

Через два дня после этого я и товарищ мой встретили на улице адъютанта.

— А знаете ли, господа, что пивоваровский-то серый рысак уж мой. Я применялся, отдал ему своего гнедого да еще придачи взял. Этот франт просто ничего не смыслит в лошадях, а туда же прикидывается знатоком, хвастает и порет такую дичь, что уши вянут.

Он глуповат немножко, а малый добрый!..

После этого я несколько раз встречал внука миллионера в ресторанах, на улицах, на гуляньях; моему товарищу вздумалось раз как-то при удобном случае представить нас друг другу, но я не счел нужным воспользоваться его любезным приглашением. Наше знакомство ограничивалось только поклонами и иногда несколькими словами при встречах. Товарищ мой также был у него всего раза два или три, не больше, но мы знали все подробности его жизни, все его приключения, как коротко знакомые. Вот каким образом: к моему товарищу захаживал очень часто некто Иван Петрович Подшивкин.

Этот Иван Петрович, — человек лет сорока, маленького роста, с беглыми, небольшими, двусмысленными глазками и с вечно угодливой и заискивающей улыбкой на губах, был сын обанкротившегося богатого купца; Прохор Кононыч похоронил его отца на свой счет, потому что у покойника не оказалось ни полушки, дал у себя в доме комнатку его вдове и определил ее сына, которому бы-

ло уже лет двадцать пять, к себе в контору. Но сын этот оказался к делам совсем неспособным и из рук вон ленивым: он даже в контору никогда и не показывался. Прохор Кононыч знал все это, но он махнул рукой, произнес: "Ну, бог с ним", — и велел продолжать выдавать ему жалованье. Таким образом Иван Петрович прожил пятнадцать лет у Прохора Кононыча, получая небольшое жалованье по его милости и снисходительности. Он всякий день шлялся по гостям, потому что сохранил связи со всем петербургским богатым купечеством, ел, пил, веселился на чужой счет и отплачивал за это шуточками, прибаутками и балагурством, смешанным с низкопоклонством. На всех купеческих именинах, свадьбах, крестинах, похоронах, рожденьях, банкетах он был непременно лицом; он забавлял бородатых миллионеров разными паясническими выходками; переносил сплетни их женам; был на посылках у их дочерей; пил с их сынками и оказывал им различные услуги, особенно по части прекрасного пола, и умел везде поставить себя хотя невидным, но необходимым лицом.

Таким образом, Иван Петрович жил припеваючи, получая от всех подачки чем ни попало: деньгами и вещами.

Где и каким образом познакомился с ним мой товарищ, я не знаю, только он удостоивал его своего расположения, потому что считал его забавным, хотя я, признаться, ничего не находил в нем забавного. Иван Петрович рассказывал обыкновенно моему товарищу различные анекдоты из купеческого быта, с ужимками и прибаутками, а товарищ мой слушал его, лежа на диване с сигарой, и хохотал от всей души. Вася Пивоваров был главным его героем. Он благоговел перед ним.

— Ну что, Иван Петрович, скажите, — бывало, спрашивал его мой товарищ, — занимается ли ваш Вася хоть сколько-нибудь коммерческими делами? понимает ли он в них хоть что-нибудь?

— Помилуйте, — отвечал Иван Петрович, — зачем же нам этим заниматься-с? Мы рождены, собственно, для того, чтобы по Невскому на рысачках кататься! Впрочем, это я только так, для рифмы соврал, а мы все знаем, всем занимаемся-с, кассирские должности

исполняем и дедушке в глаза пыль пускаем. Старик-то нам немножко мешает, а то бы мы такого форсу задали, что...

Иван Петрович сжал губы и свистнул.

— Что ж, впрочем — и теперь об нас все говорят — куда ни обернешься, только и слышишь: какой рысак у Василья Прохорыча! Какая коляска!.. какая мебель!.. — и точно что... (он взглянул на меня и указал на моего товарища) вот они видели нашу мебель: пате, консольки, козеточки, эдакие, натошак и не выговоришь такие названия; ковры, шелки, бронзы — есть от чего ахнуть. А вина-то какие, — а метресочки-то! Господи, боже мой! Я прошедший раз гляжу на Луизу Карловну... она эдак лежит на диване, как султанша какая, да ножкой болтает, — просто чудо! — "Позвольте, я говорю, Луиза Карловна, мне, недостойному рабу, хоть к башмачку-то вашему или к чулочку моими грешными губами прикоснуться..." А она, знаете, спрашивает по-французски: что, говорит, он врет? — а сама смотрит на меня, улыбается, да еще пальчиком грозит, — такая, ей-богу! то есть, кажется, прилег бы к ее ножке щекой, замер и

испустил бы тут же дыхание, и в голову бы не пришло, что другие женщины существуют на свете, а мы — нет-с, как можно! Нам одного цветочка мало; мы, как пчелы, с цветка на цветок перелетаем, никаким не пренебрегаем, и на чертополох садимся, отовсюду медок высасываем, а из нас денежки высасывают... Да что! нам деньги нипочем! У нас деньги, как щепки. Хоть у нас-то их и не слишком много, да ведь мы наследники, а у дедушки-то у нашего подвалы чистым золотом завалены...

Нам не то, что другим-с; в случае нужды деньги достать все равно, что стакан воды выпить. Отовсюду сбегутся благоприятели... сейчас сколько угодно достанут, благодетели, пятьдесят на сто; деньги нам дают да еще нам же в пояс кланяются. Экая жизнь-то подумашь — блаженство! Намедни утром лежит на диване в турецком халате, халат-то из тысячной шали скроен, шелковые шаровары, — потягивается, позевывает да лениво покуривает. Головка-то в тумане еще... всю ночь напролет прожуировал, а я смотрю на него да улыбаюсь.

— Чего, говорит, ты смеешься?..

— На вас, говорю, Василий Прохорыч, радуюсь. В сорочке, я говорю, вы родились.

— В самом деле?.. — и сам улыбается... — а что, говорит, я думаю, точно, многие мне завидуют?

— Да как же не завидовать-то! Кому же завидовать, как не вам?

— Это, говорит, все вздор; теперь мне завидовать еще нечему, а вот как я буду сам себе господин, так уж тогда я покажу себя; весь Петербург, говорит, ахнуть заставлю. Вот ты увидишь!

И точно: вы посмотрите, как мы тогда заживем. Уж никто так, как Василий Прохорыч, не сумеет пыль пустить в глаза: умница-то ведь какой! ловкий, молодец!..

Посмотрите, как в театр войдет, или в коляску сядет — подумаешь, что князь какой. Я из нашего-то сословия почитай что всех богачей знаю, из молодых-то, да нет-с, куда им! далеко до нашего Василья Прохорыча! тех же щей, да пожиже влей. Супротив него у нас никого нет. Вот кричат про Мыльникову, сына Петра Касьяныча — да ничего в нем особен-

ного нет и по-французски не говорит, даром что француженку содержит, пантомимой с ней объясняется, как в балете, ей-богу, смех смотреть... Она ему просто вот какие, оленьи рожищи подставляет и смеется еще над ним, а он ничего не понимает, напьется, глаза, знаете, эдак посоловеют, станет перед ней на колени, мычит что-то и сердится, что она его не понимает, бьет себя в грудь, плачет... Куда ему против нашего! Я его часто вижу вместе с Васильем Прохорычем. Говорить ли о чем начнут — уж наш непременно его забьет, пить ли — ваш перепьет, на рысаках ли перегоняться вздумают — наш обгонит. А вот теперича он съездит за границу-то, да вернется назад. Форсу-то там еще более понаберется, тогда и не подходи к нему; пожалуй, что еще и на княжне какойнибудь женится. Англичанин будет настоящий. Ведь правду я говорю, Александр Григорьич?..

— Правду, правду, — отвечал, смеясь, мой товарищ, — ну, а скажите, Иван Петрович, дедушку-то своего он любит?

— Господи боже! да как же такого золотого дедушку не любить. Да и дедушка-то в нас ду-

ши не слышит, только старики-то ведь ворчунны, ну и наш ворчит, что мало делом занимаемся. Он умница, даром что с бородой и сапоги сверх панталон носит, но бедовый старик!.. у него все по струнке ходят, пискнуть перед ним никто не смеет, а уж к внучку слаб, больно его любит, потому что он у него один наследник, сквозь пальцы смотрит на него, да еще старик-то, признаться, и мало знает наши проделки... Если б он все узнал, просто, как ни любит, а беда бы была... А что, на прощальном-то обеде вы у нас будете, батюшка Александр Григорьич? Через месяц уж Василий Прохорыч непременно уедут за границу. Теперь начинаем приготовляться к отъезду. Приезжайте, приезжайте: обед будет на славу, пожалуй, и птичьего молока для вас доставим, это нам нипочем... А скучно будет без Василья Прохорыча!

Иван Петрович вздохнул.

Через месяц, на другой день после этого прощального обеда он прибежал к моему товарищу в ту минуту, когда я только что вошел к нему. Иван Петрович был в восторженном настроении.

— Ах, боже мой! Александр Григорьич, скажите, как это вам не грешно, вчера-то вы у нас не были! Как же это можно! — восклицал он, с сверкающими глазами и размахивая руками...

— Что делать? не мог, я был не очень здоров.

— Да что не здоровы! как не могли, помилуйте! Ведь что было, то есть, этого и представить себе невозможно! Для такого банкета со смертного одра можно было встать, ей-богу... Вот я вам принес списочек блюд... вот извольте... прочтите... это на удивленье!

А десерт-то какой!.. Клубника, земляника, малина в полпальца величины — теперь-то вы можете себе вообразить! Вин — это просто разливанное море... обедало всего человек двадцать, а выпито пять дюжин одного шампанского; после обеда пошли ликеры, заварили жженку с ананасами... Я, знаете, в свою жизнь часто бывал на парадных, хороших банкетах, а уж ничего подобного не видал... Теперь воображению представится, так слюнки потекут. Право. Много было из знатных особ, — вот князь Ртищев... Уж как он всех

распотешил нас. Эдакий молодчина! Наш-то насчет выпивки мало кому уступает, а уж против их сиятельства — пас... Ну, да и то сказать, куда же с ними тягаться: в плечах косая сажень, рост какой, как заговорят, так своим голосом всех и покроят, пляшет как! — нечего сказать: настоящий князь! Взгляд эдакой, жест повелительный, орел, да и только, и не нужно говорить, что князь... Стоит посмотреть на него, сейчас догадаешься. После жженки как закричит: "К цыганам! слышите? Сейчас же все до единого!" Я было хотел улизнуть да прикурнуть где-нибудь в уголку, потому что ноги-то у меня уж, знаете, подкашивались, а он ведь, подите, какой! сейчас заметил, да за шиворот меня.

— Куда? — говорит, — не смей отсюда выходить, все к цыганам!

Как он схватил меня, я, признаться, и испугался; эдакий силачина, ведь меня просто, как комара, придавить может.

— Помилуйте, я говорю, ваше сиятельство, куда прикажете, я, говорю, везде за счастье почту быть с вашим сиятельством.

А он, знаете, эдак посмотрел на меня с ног

до головы, изволил улыбнуться и говорит:

— Ну, то-то же, смотри, никуда отсюда, все к цыганам, и за другими смотри, чтобы никто не смел улизнуть. Ты мне за всех отвечаешь...

Такой шутник, право!

Вот мы таким манером и нагрянули к цыганам в Новую деревню... Уже первый час был. Все спят. Его сиятельство идет впереди всех предводителем, и кричит: "Эй, вы! вставайте, гости приехали!.." Сам изволил стащить с постели цыганочек-то, которые помоложе... Они кричат, пищат... "Ваше сиятельство, оставьте, мы сейчас..." Шали на себя, платки накидывают, а он-то хохочет... "Живо! говорит... Где, говорит, Матрена! подавайте мне Матрену!" Цыгане-то заспанные, знаете, из угла в угол мечутся, как угорелые, видно уж знают князя. "Сейчас, говорят, ваше сиятельство, все будет готово... не извольте беспокоиться". Начинают помаленьку собираться. Является Матрена... идет, знаете, эта жирная, старая рожа, переваливаясь, да как увидала князя... "А это ты, говорит, забулдыжная голова, спать-то нам не даешь!" Ей-богу, так-таки и говорит... А князь-то ей:

"Ах ты, старая, говорит, ведьма, чего разоралась-то! Ну, обними меня и поцелуй". Та обняла его и давай целовать; мы так все и покапались со смеху. — "Ну теперь, говорит, пошла, довольно", — и рукой ее эдак, знаете, взад... и потом обернулся к цыганам. "А вы, говорит, чего смотрите? Шампанского подавай!.." Господи! я думаю про себя, да что ж это? Уж, кажется, пили, пили, а теперь еще! что же это будет с нами! Князь-то шутить не любит... Вот-с началась попойка и песни... Маша заливалась, как соловей, весь хор пел на славу, Матрена просто выходила из себя; видно, что они все из кожи лезли, чтобы отличиться перед такими гостями: ведь наш-то и на них сажал деньги, они его знают, да и кто ж, правда, его не знает?.. Вдруг как князь-то вскочит, да как закричит: — "Ну веселую, плясовую — да живо! Матрена, пройдемся-ко", — и мигнул Матрене. А сам с себя сюртук долой и пошел, пошел: ногами семенит, плечами поводит, да потом вдруг вприсядку, гикает, кричит, размахивает руками, а пот-то с него так градом и льет.

— Ну, говорит, черт возьми, довольно с

вас! Устал как собака, — и вытерся рукавом рубашки, — теперь, говорит, пойте что хотите, — и лег на диван. А там и пошла песня за песней, и после каждой песни разливка, вино-то теплое, в душу не лезет, и смотреть-то на него гадко: вспенится и польется через на жестяной поднос, и поднос и стол-то грязный такой, и грязь кругом. А князь — ничего... Ну знаете, к концу-то он поосовел немножко, призамолк богатырь, сидит, обнявшись с Груней и покачивается, а все еще, как нальют бокалы, кричит «пей», но уж не таким твердым голосом — и сам пьет. Потом пошли эти величания... Маша сама обходила с подносом. Как дошло до нашего-то, как Маша остановилась перед ним, кланяясь и желая ему счастливо-го пути (уж они, шельмы, проведали, что он едет за границу), он кивнул мне головой...

— Ваня, говорит, — уж язык-то у него чуть ворочается, а я-то, знаете, уж пить тут не мог, возьму, знаете, бокальчик да в горшок с ер-нью, благо князя-то нечего бояться было, ну так я был потрезвее, — Ваня, отыщи, говорит, у меня бумажник в кармане, вынь пятьсот рублей, положи на поднос.

Вынул, положил, так нет! не унялся — видите, еще мало показалось — вынимает из кармана лобанчики и кидает, а ведь они такие жадные, ненасытные. Им сколько ни давай, все мало. Домой-то мы воротились часов в семь. Уж я сокровище-то наше всю дорогу держал на руках, он совсем ослабел, я берег его, как сосуд какой-нибудь хрустальный.

Нельзя же: ведь он у нас избалованный, изнеженный такой.

Смотря на этого балагура и слушая его рассказ, я был убежден, что он выпустил из него некоторые подробности, касающиеся до себя, а именно, что часть денег, назначенных ненасытным цыганам, он, пользуясь удобным случаем, перевел в свой карман. По крайней мере он производил на меня своею особою такое впечатление. Я сообщил это замечание моему товарищу, но он по доброте сердца никак не соглашался с этим и уверял, что господин этот хотя и шут, но малый честный...

На пароходе, на котором отъезжал за границу внук миллионера, отправился, между прочим, один мой знакомый. Я провожал его до Кронштадта и был невольным свидетелем

проводов внука миллионера. Его провожали наш знакомый — Иван Петрович; купеческий сын Мыльников — франт, кутила и лихач, явно усиливавшийся во всем тянуться за Пивоваровым; толстый господин, очень важно державший себя, имевший тип биржевого маклера; еще другой господин с выверченными ногами, неопределенных лет от пятидесяти пяти до шестидесяти пяти, всем известное в Петербурге лицо — нечто вроде ублюдка от жиды с обезьяной, говорящее на всевозможных языках и исправляющее всякие факторские обязанности, и, наконец, Луиза, вся обернутая в драгоценную турецкую шаль.

Когда эта компания явилась вечером на пароход, готовый к отплытию, она была уже в очень оживленном расположении, не исключая и Луизы, и обратила на себя всеобщее внимание.

Жид-фактор, размахивая своими как будто вывихнутыми руками, кричал во все горло, дружески ударяя по плечу внука миллионера:

— Когда будешь в Париже, остановись, мон-шер, непременно в Hotel des princes, rue Richelieu, — самая лучшая отель... Слышишь,

непременно там — и спроси Шарля, он комиссионер при отеле; скажи, что я тебе рекомендовал его — этого довольно, он будет распинаться для тебя. Это драгоценный человек: он Париж знает как свои пять пальцев... он покажет тебе все чудеса, диковинки и прелести... Вот ты увидишь, голубчик, как веселятся в местечке Париже, не по-нашему!.. Нет!.. Нам далеко!.. Завидно смотреть на тебя, полетел бы за тобою, посмотреть на моих старинных приятельниц — парижаночек!

И, говоря это, он с довольною улыбкою по-сматривал кругом себя, выставляя голову вперед и поводя носом, как бы обнюхивая.

Купеческий сынок Мыльников поправлял свои усики, тупо улыбался и говорил:

— Я тоже поеду на будущий год в Париж, непременно поеду!

Иван Петрович все терся около отъезжавшего внука миллионера; становился против него, льстиво смотря ему в глаза и повторяя: "Покидает нас наше сокровище, оставляет нас здесь сиротами!", заходил сзади и поправлял ему ремень от сумки, которая была у него надета сверх пальто; смотрел на него то с право-

го, то с левого бока, печально кивая головою; подходил к жиду-фактору, к Мыльникову, к биржевому маклеру и повторял со вздохом: "Уезжает! уезжает!", обращался к Луизе и говорил, указывая на Пивоварова: — парте, адъё! и потом, умильно осклабляясь на нее, прибавлял:

— Ах вы, кралечка!

Когда провожавшие должны были оставить отъезжавший пароход и я совсем простился с моим знакомым, продираясь сквозь толпу к выходу, я опять наткнулся на группу, провожавшую внука миллионера.

В этот раз Луиза была в его объятиях и обливала его слезами.

— Merci! merci!.. Ne m'oubliez pas, mon cheri! — повторяла она ему.

Иван Петрович всхлипывал, глядя на них: даже жид-фактор подносил платок к глазам, до того картина эта была трогательна. Только купеческий сынок Мыльников и толстый биржевой маклер оставались довольно равнодушными.

Иван Петрович подошел ко мне на пароходе, на котором мы возвращались в Петербург.

— Умчался наш сокол за моря! — сказал он, — без него и жизнь не в жизнь будет, так привык к нему, ей-богу. Да человек-то какой, души-то сколько!.. Как не любить его!

Луиза Карловна-то, видели вы, просто убивалась, прощаясь с ним, навзрыд плакала бедняжка; у него у самого, глядя на нее, покатились слезы, жалко ему стало ее, вынул из сумки пятьсот рублей, — на, говорит, Луизенька, возьми на булавки... Тяжело, я вам скажу, будет ей без него! Не скоро забудет!..

В эту минуту начал накрапывать мелкий дождь, и мы вошли в каюту.

В одном углу каюты мы увидели Луизу, сидевшую между двумя гусарскими офицерами и хохотавшую во все горло... Один из офицеров держал ее за руку, называя неутешной вдовой.

— Посмотрите-ка, — сказал я Ивану Петровичу, указывая на эту группу.

Иван Петрович вытаращил глаза, с минуту смотрел на нее, потом печально покачал головою.

— Ах, она бесстыжая эдакая! — произнес он, — да и я-то дурак, в самом деле подумал,

что она жалеет об нас. А ведь сколько мы в нее денег посадили! И еще с час назад тому пятьсот рублей бросили! За что же?.. стоила ли она этого?.. Да чего, впрочем, ждать от них? в этих женщинах нет ни стыда, ни совести!

И Иван Петрович от негодования плюнул.

IV

Внук миллионера вернулся из-за границы через два года. О заграничных его похождениях мне узнать было не от кого. В Петербурге же, по рассказам Ивана Петровича и по другим слухам, он произвел в своем кругу, как и следовало ожидать, величайший шум. Там в течение нескольких месяцев только и говорили о вывезенных им вещах, платьях и каких-то неслыханных экипажах, с такими хитрыми названиями, которые у русского человека останавливались поперек горла... Внучек миллионера на некоторое время занял внимание даже всех классов петербургского празднующегося народонаселения. Об нем заговорили, да и нельзя же было не говорить, потому что он всякий день появлялся

на публичную выставку в различных видах: он прокатывался утром по Невскому проспекту несколько раз взад и вперед, чтобы дать возможность во всех подробностях рассмотреть себя любознательной публике; то в каком-то английском экипаже, на английских лошадях, с английской закладкой, которыми он сам правил, вооруженный длиннейшим бичом; то полулежа в легкой, как пух, коляске, привезенной из Вены и запряженной русскими рысаками, которых во весь ход пускал его толстый и бородатый кучер, обгоняя блестящие экипажи Шарлоты Федоровны, Арманс, Берты, Марьи Ивановны и вообще этих дам... В обеденное время его можно было видеть почти постоянно то у Сен-Жоржа, то у Леграна, а вечером или в цирке, или во Французском театре, или в опере, куда он являлся всегда не только во фраке, но даже в белом галстуке, как это делают те светские господа, которые обыкновенно прямо из театра отправляются на бал или раут. Внук миллионера на балы не ездил, а если и ездил, то на такие, на которых белый галстук был совершенно излишним украшением, но он предпочи-

тал белый черному уже потому, что белый бросался в глаза. К тому же, как известно, белые галстуки в большом употреблении в Лондоне.

— Здесь просто жить не умеют, — говорил он своим приятелям с презрительной гримасой и пожимая плечами, — какая-то дикая страна! Помилуйте, здесь в оперу ездят в сюртуках, на что же это похоже? В Лондоне в оперу всякий порядочный англичанин надевает непременно фрак и белый галстук! Это уж так принято у всех образованных людей...

— Да! уж что там ни говори, — рассуждал про него благоговейно купеческий сынок Мыльников со своими друзьями, — а уж за ним тягаться нелегко: шикар, черт его возьми!

Настоящий европеец!

И, в подражание внуку миллионера, он также стал, появляться в оперу в белом галстуке.

Только некоторые великосветские гвардейские офицеры и штатские *comme il faut* иронически поглядывали на нового европейца, отзывались об нем презрительно и назы-

вали его даже унизительным именем хама, в полном и гордом сознании, что та высочайшая *comme il faut*ность и та утонченная светскость, которую владеют они, не может быть доступна всякому, что она не покупается никакими миллионами, что это высочайший идеал, до которого достигают только немногие избранные и высокорожденные. Внучек миллионера, хотя и замечал, как эти господа на него посматривают, но, по-видимому, мало огорчился этим. Ему, может быть, хотелось сначала попасть в их общество, но, убедившись, что это не так легко для него, как он думал, он успокоился... К тому же можно было смело предположить, не прибегая к помощи наблюдений и слухов, что он принадлежал к числу таких людей, которые не принимают тон, а задают тону и которые окружают себя людьми, над которыми они могут распоряжаться всевластно.

В это самое время, то есть через полгода, а может быть, и через год после возвращения Пивоварова из-за границы, весь Петербург заговорил об Шарлоте Федоровне... Я говорю весь, потому что каждый из нас, людей обес-

печенных и более или менее праздных, привык считать тот маленький мирок, которым окружен он, с его интересами, понятиями и взглядами чуть не целым миром, воображая, что весь мир непременно живет теми же интересами, понятиями и взглядами. Очень легко может быть, что большая половина Петербурга и не подозревала о существовании Шарлоты Федоровны, но какое нам дело до этой большой половины? Об ней говорили мы, она занимала нас.

Она была очень известна давно, но, несмотря на ее красоту и молодость, на нее смотрели почти с пренебрежением, потому что эта красота была слишком легка и доступна и, как все такого рода красоты, имела не блестящую обстановку. А мы в таких случаях похожи на тех покупателей картин, которые обращают не столько внимания на достоинство самых картин, сколько на великолепные рамы. Когда случай вставил Шарлоту Федоровну в великолепную раму, — все обратились к ней, все заговорили об ней.

Шарлота Федоровна окружила себя таким блеском и начала держать себя до того свысо-

ка, что издали и для людей неопытных она казалась совершенно недостижимой. У нее явилось множество великосветских поклонников, она сделалась вдруг минутною прихотью Петербурга, его модою, и внушек миллионера, разумеется, начал тотчас же в числе других всюду преследовать ее. Он появлялся на всех пикниках и маскарадах, на которых была она; он не спускал с нее своего бинокля в театрах; на Невском проспекте его рысаки обгоняли ее рысаков; он четыре раза в день в различных экипажах проезжал мимо ее окон; он подкарауливал ее в Английском магазине, у Елисеева и в других лавках.

Но Шарлота Федоровна вела себя очень тонко и расчетливо. Она знала, что великосветские господа, по милости которых отчасти она держалась на высоте моды, считают внука миллионера человеком дурного тона, подсмеиваются над его претензиями и желанием выставиться, и вместе с ними смеялась над ним, обнаруживала перед ними презрение к нему, говорила, что этот купчик надоедает ей, что она не знает, как от него отделаться, и прочее, а между тем, говорят, тай-

ком вела с ним переговоры, потому что упустить его считала по справедливости нерасчетливым.

Слухи эти подтвердились Иваном Петровичем. Я встретил его однажды на улице.

Он подошел ко мне в ту самую минуту, когда Шарлота Федоровна промчалась мимо нас на своих рысаках. Иван Петрович, значительно улыбаясь, проводил ее глазами, прищелкнул языком и, обратись ко мне, сказал:

— Вот-с уж барыня, так барыня!

— А вам нравится?

— Помилуйте, да как не нравится. Я с ней имел счастье недавно провести целый вечер.

— Каким же это образом?

— Да просто у нас в доме-с. Недели две тому назад изволите видеть, у Василья Прохорыча зашел спор с молодым Мыльниковым. Василий Прохорыч говорит, что для меня, говорит, нет ничего на свете недоступного. Все, что пожелаю, говорит, буду иметь.

А Мыльников-то улыбнулся и говорит ему: "Ну, говорит, атанде, не всё, шалишь! Вот позови-ка нас ужинать — чтоб Шарлота Федоровна была. Ну-ка!" — А наш-то ему отвечает.

"Велика, говорит, важность Шарлота! Да она будет у меня, когда хочешь". — "Нет, говорит, врешь, не будет, ведь она теперь так нос задрала, что ужас". — "А будет!.." Слово за слово, знаете, и побились об заклад о дюжине шампанского. Ну, разумеется, Мыльников проиграл — приехала, только хоть мы и выиграла дюжину шампанского, а этот визитец нам дорого обошелся-с. Еще до визита двух вороненьких рысаков к ней на конюшню послали... так вот изволите видеть, в назначенный Василием Прохорычем вечер собрались мы часам к девяти эдак; всё свои, самые близкие только, человек нас пять всего было, вместе с Василием Прохорычем... Мыльников расфрантился, распомадился, завился, раздушился, как херувим какой расхаживает — и все в зеркала смотрится.

Признаться, и мы себя во всем блеске показать захотели; зажгли все люстры и кенкеты, комнаты горят просто как на балу на каком. Сам-то ходит во фраке, и все мы во фраках — нельзя, говорит, иначе, потому что в Европе вечером все во фраках, так заведено, а уж там, где, говорит, дамы, в сюртуке быть почитает-

ся величайшим невежеством. У нас теперь ведь все по-европейски, без Европы мы шагу не делаем... Ну вот он, знаете, похаживает, как будто ни в чем не бывало, а сам между тем все на часы посматривает. Уж близко к десяти, а ее все нет. Мыльников подходит ко мне и говорит:

— А что, Ваня, ведь я пари-то выиграл, — не приедет!

— Нет, — я говорю, — проиграл, шер ами. Я тоже нынче по-французски запускаю с тех пор, как мы из Европы-то прикатили. Уж коли, говорю, он сказал, что приедет, так приедет.

— Неужто, говорит, взаправду? Мне, говорит, на проигрыш наплевать, а главное, хочется вблизи-то на нее посмотреть. Так ты думаешь, что приедет?

— Непременно.

— Что ты? У меня, брат, даже, говорит, сердце забилось, — ей-богу...

В половине одиннадцатого — Звонок. Мы всё переглянулись — кому же, кроме ее? У Мыльникова даже вся кровь в лицо бросилась... Он к зеркалу, и виски поправлять.

Наш-то посмотрел на всех с торжеством, "она! говорит, она!" — и пошел ей навстречу.

Входит. Господи! как разодета!.. в белом шелковом платье с фальбарами, по белому-то лиловые полосы, вся в кружевах, декольте, а шейка-то беленькая, как сливки, и у самого разделеньица-то, на грудочки-то, ужаснейший брильянтище, так и сверкает, так и переливается... Я, знаете, таким молодцом расшаркнулся перед нею, а Мыльников — ведь такой чудачина, даром что сам миллионер и с виду лихач, совсем оробел, стоит как пень и выпучил на нее свои буркалы-то...

А наш-то указал на нас и говорит ей:

— Имею честь представить — это, говорит, всё мои приятели, — всех нас по фамильям назвал...

Она обвела нас глазками, а глазеньки-то какие: с поволокой — чудо! улыбнулась эдаким приятнейшим манером и кивнула всем нам головкой.

— Я, говорит, из Французского театра, все такие глупые пьесы давали... Я и не дождалась конца.

И расселась в кресло, а наш-то под ноги ей

скамеечку..

— Мерси, говорит, обдернула платице и ножку выставила.

Как я взглянул, верите ли — у меня так по всему телу мурашки и пробежали.

Башмачок-то маленький, узенький, с обшивкой и с лиловым бантиком, чулочек-то шелковый, так и обтягивает ножку — и точно как зарей подернут, — с розовым оттеночком...

И как пошла говорить, что твои гусли: обо всем так прекрасно рассуждает, все так крикует. Умница такая!

А Мыльников мне на ухо:

— Фу ты, братец, говорит, какая образованная!

— Да, я говорю: это не то что Луиза Карловна, далеко кулику до Петрова дня, а я-то, дурак, думал прежде, что уж лучше и умнее Луизы Карловны нет на свете женщины!..

— И посмотри, Ваня, — Мыльников-то говорит мне и, знаете, толкает меня под локоть, — манеры-то какие: развалилась ведь точно княгиня.

Поговоривши эдак с полчаса, встала она и

начала рассматривать наши редкости: остановилась против часов, — большущие эдакие бронзовые часы, он привез их из-за границы: две женщины с каждой стороны лежат неглиже, внизу амуры играют, и к ним канделябры свеч об двенадцати каждая, один человек и не поднимет, тысячи две на наши деньги заплатил... Она долго любовалась ими, все кругом осмотрела, да и говорит: "На что, говорит, вам эдакие часы!.. Мне в гостиную, говорит, надобно часы; будьте-ка любезны — подарите их мне". Ну а наш-то, знаете с амбицией, хоть и жалко, да уж ни за что не покажет.

— Извольте, говорит, с большим удовольствием, они завтра же утром будут у вас, — так, знаете, равнодушно, как будто они целковых три стоят.

Показал он ей фарфоровые куклы, тоже навез с собою оттуда, говорит, что редкие, дорогие... Предложил сам — не угодно ли, говорит, выбрать! — Почти что все забрала, ейбогу... уж нам смешно, мы мигаем друг другу, а она ничего — ходит по комнатам, как королева какая, и отбирает, что ей нравится. Верите ли, тысячи на три с лишком разных вещей на-

брала.

Тут пошло угощение: мороженое, чай, конфеты... Мы с Мыльниковым сначала оробели маленько, но к концу тоже в разговор вступили, а после ужина Мыльников-то даже расходился. "Позвольте, говорит, вашу ручку поцеловать". Она улыбнулась и ни слова — протянула ему руку; ну уж затем и я решился. "Уж удостоьте, я говорю, и меня тем же благоволением", — и мне протянула, и я приложился и смотрю — один пальчик весь в кольцах — и все сотенные: яхонты, брильянты, опалы, жемчуг — я в этих вещах толк-то знаю, — думаю: ах, кабы со всем и с кольцами пальчик-то откусить!..

До двух часов пробыла, а на другой день все вещи, которые выбрала, уложили мы и отправили к ней. Мне уж часов-то больно жалко, остальные-то вещи бог с ними!

Так вот они, эти барыни-то, каковы! Хороши, красивы, а пальца им в рот не клади — откусят-с!

Эта поговорка, кажется, оправдалась над Пивоваровым, потому что, кроме подарков вещами и рысаками, он, говорят, заплатил за

Шарлоту Федоровну тысяч пятнадцать рублей серебром долгу; к этому прибавляли еще, что после уплаты долга дверь ее квартиры более не открывалась для него и что Шарлота Федоровна даже отворачивалась при встрече с ним.

Самолюбие внука миллионера было оскорблено сильно, что можно было заключить из отзывов Ивана Петровича о Шарлоте Федоровне.

— Что, ваш Вася продолжает с нею все в дружбе жить? — спросил его мой товарищ.

— Помилуйте! — воскликнул Иван Петрович, — какое! уж давным-давно все кончено...

Мы ее бросили и смотреть-то на нее теперь не хотим. Мы найдем и почище ее. Черт ее возьми совсем! Мы, батюшка Александр Григорьич, охотники, ловцы, а известно, что на ловца и зверь бежит. Да, признаться, пора бы и перестать; побаловали — и полно. Время бы уж своим домком обзавестись, хорошую хозяйку взять — вот что. Старик-то наш, слышно, уж приискивает ему невесту. Остепениться, говорит, пора малому-то...

Семейство моего товарища заключалось в матери и сестре. Отец его, совершивший все земное, то есть достигнувший полного генеральского чина, скончался лет восемь перед этим. Матери его было лет под пятьдесят; она еще тщательно сохранила остатки прежней красоты, не прибегая для поддержания ее ни к каким искусственным средствам.

Она принадлежала к тому разряду женщин, которых обыкновенно зовут благовоспитанными. Она была всегда одета с приличием и вкусом, не моложе своих лет, но не без некоторого оттенка кокетства, никогда не позволяла себе увлекаться в разговоре и постоянно говорила ровным тоном, не возвышая и не понижая голоса; никогда почти ничего не читала; безусловно подчинялась всем тем светским условиям, воззрениям и обычаям, среди которых она прожила полжизни, и почитала их величайшею мудростию, а уклонение от них ужасною безнравственностью. Впрочем, несмотря на свою наружную холодность, она имела сердце мягкое и доброе и

очень любила детей своих. И хотя сын ее беспрестанно противоречил этим условиям и обычаям и никогда не соглашался с ее воззрениями, она поневоле примирялась с ним, убеждая его примером, что можно быть честным и порядочным человеком совершенно вне этих условий. Он вел себя относительно ее с большою почтительностью, осторожностью и тактом, и избегал случаев раздражать ее противоречием, но иногда в минуту увлечения высказывался против воли — и в таких случаях она, вздыхая, всегда повторяла: "Я удивляюсь, какие у вас нынче странные понятия обо всем!" Это замечание напоминало ему, что он перешел должные границы, и он в таких случаях обыкновенно переменял разговор. Он был бы совершенно счастлив и почти спокоен в семейном быту, если б его не тревожило страшное честолюбие, которое маменька питала за него. Маменьке непременно хотелось, чтобы он сделал блестящую карьеру, получал чины, кресты, придворные звания, чтоб он составил хорошую партию, женился бы на какой-нибудь княжне, графине или по крайней мере на графской или княжеской

родственнице — великосветской барышне, а все это не совсем согласовалось с его независимым образом мыслей, прямодушием и отсутствием всякого тщеславия. Отсюда возникали иногда довольно неприятные домашние сцены и объяснения между сыном и матерью. Сестра его была девушка очень умная и с таким твердым и серьезным характером, которые попадаются не часто и образуются в самой неблагоприятной для них среде каким-то чудом. Брат любил ее без памяти и питал к ней большое уважение, несмотря на то, что она была гораздо моложе его, потому что перед ней он чувствовал еще сильнее слабость собственного характера. Она была посредницей между братом и матерью, особенно в минуты честолюбивых припадков последней относительно сына.

Я бывал в этом семействе довольно часто и проводил у них иногда целые вечера, в то время как мой товарищ рыскал по Петербургу. Одна из самых частых посетительниц в их доме была пансионская подруга сестры моего товарища — прелестнейшая девушка, какую я когда-либо встречал в жизни. В этой девуш-

ке было столько грации — не условной, искусственной грации, которая вырабатывается воспитанием, а природной, выходящей из глубины благородной, прекрасной природы, — столько гармонии во всем ее существе, что она вдруг поражала невольно и останавливала всякого, кто видел ее в первый раз. Она была так нежна и легка, что иногда, при поэтическом настроении духа, ее можно было принять за видение. Белокурые, почти льняные, и пушистые волосы украшали ее головку, черты лица ее отличались не столько правильностью, сколько привлекательностью, которая особенно выразалась в ее темно-серых глазах. Ее стан, рост, нога и рука — все это могло бы служить образцом для художника. Таково было первое впечатление, производимое ею на всех, но странно, когда в нее вглядывались ближе, к нему присоединялось какое-то неопределенное, но грустное чувство, возбуждаемое непрочностью и слабостью этого существа, которое, казалось, не могло ни минуты быть само по себе, без посторонней помощи и поддержки. Она походила на те нежные, тонкие, вьющиеся растения,

которые ищут возле себя деревца — и если находят его, то с любовью обвиваются около его стебля и поднимаются до самой его вершины, а если не находят, то расстилаются по земле и гложнут в траве; под защитою этого деревца они не боятся бури, но вянут от одного грубого прикосновения руки человеческой.

Я не мог судить об ее уме, потому что мне не случалось говорить с ней серьезно, и она вообще, кажется, была мало разговорчива, но в самом пустом, обыкновенном разговоре ее было что-то приятное; может быть, причиною этого был звучный, но в то же время тихий, симпатический голос. Я впоследствии видал ее довольно часто — и не слышал от нее никогда ни одного пошлого слова, но всего сильнее действовала на меня ее улыбка, в которой была неотразимая привлекательность и которая, как луч солнца, вдруг озаряла ее личико. Эта улыбка была полным выражением ее внутренней веселости, которая никогда не доходила до смеха, — по крайней мере я не видел ее смеющуюся вслух.

Женский смех — вещь очень серьезная... Смех часто изобличает внутренние качества

женщины и степень ее развития. Женский громкий и резкий смех, раздражающий нервы, отталкивает от самой хорошенькой женщины.

При появлении каждого нового незнакомого лица она тотчас, казалось, уходила в себя, до того она была робка и впечатлительна, и если даже кто-нибудь из знакомых обращался к ней в разговоре, она всякий раз как будто внутренне вздрагивала.

Когда я увидел в первый раз эту девушку и еще не знал, кто она, я был убежден, что такое тонкое, изящное и деликатное существо могло родиться не иначе, как в высших сферах общества, — до того сильны предрассудки, вкоренившиеся в нас с детства. Мне, я должен признаться откровенно, было даже, несколько неприятно, когда я узнал, что она дочь купца, и после этого в первые минуты она несколько потеряла для меня свой поэтический колорит; вглядываясь в нее потом внимательно, я старался отыскивать в ней (хотя напрасно) каких-нибудь следов того условия, к которому принадлежала она.

Сестра моего товарища чувствовала к ней

глубокую привязанность и говорила об ней почти с увлечением, хотя вообще увлечение вовсе не было свойственно ее серьезной природе. Товарищ мой часто забывал для нее клубы, театры и своих приятелей и целые вечера, к удивлению всех, просиживал дома... Даже его матушка благосклонно находила, "qu'elle est tout a fait distinguee", хотя мысль, что дочь купца — друг ее дочери, все-таки несколько оскорбляла ее.

Товарищ мой передал мне, что у подруги его сестры в живых только отец-старик, — человек нрава крутого, русский самодур, но очень любящий ее по-своему, и что она богатая и единственная его наследница.

Однажды мы как-то откровенно разговорились об этой замечательной девушке...

— А что, любезный друг, женись-ка на ней, — заметил я, — право, я говорю не шутя.

— Какой вздор! — возразил он, — нет, любезный друг, во-первых, я стар для нее: мне уж тридцать лет; во-вторых — нравиться женщинам я не умею и не могу, да у меня и фигура не такая; а в-третьих — я не так себя поставил, я испортил всю мою жизнь, изуро-

довал себя — и ни к чему серьезному не способен, а женитьба — вещь очень серьезная.

К тому же ты знаешь мою матушку! Из этого могли бы выйти такие семейные сцены и неприятности!.. Она женщина добрая, хорошая, но вся напичкана, к сожалению, барскими предрассудками...

Если бы я был уверен, что я, точно, могу составить ее счастье... но дело в том, что я в этом вовсе не уверен. Как мне ни надоела эта бродячая, цыганская, глупая и пустая жизнь, которую я веду до сих пор, как она ни тяготит меня, как мне ни опротивела вся эта компания, среди которой я провел мою молодость и от которой путного слова не услышишь, а все-таки я еще не совсем отделался от нее и она — я уж это чувствую, положила на меня неизгладимую печать и сделала меня ни на что не годным.

Товарищ мой говорил тоном грустным и желчным и не хотел слушать никаких возражений, но вдруг он расхохотался.

— Мы, впрочем, толкуем ужаснейшие глупости, — сказал он, — ну, скажи пожалуйста, можешь ли ты меня вообразить серьезно же-

натым. Мне кажется, смешнее этого ничего быть не может. Признайся.

Я должен был сознаться, что это правда.

— То-то и есть! Нет, уж мне, видно, придется остаться холостяком на всю жизнь — и промаячить ее бесполезно и для себя и для других. Если б я вздумал приобрести подружку жизни, из этого бы вышло вот что... слушай:

Он начал представлять комическую картину своей семейной жизни — и сам от души заливался над своею остроумною фантазию...

Прошло с год после этого. Подруга сестры моего товарища посещала ее так же часто, но товарищ мой начал явно удаляться от нее и избегать ее.

Раз как-то мы сговорились ехать куда-то вместе, и я заехал за ним. Я нашел его против обыкновения в мрачном, беспокойном и раздражительном расположении духа.

— Нет, брат, я что-то не расположен ехать... извини меня, — сказал он мне, когда я напомнил ему об нашем визите, — скучно и лень.

Он уничтожал папироску за папироской и почти все молчал, что с ним случилось

необыкновенно редко.

— Да что с тобою?.. Ты нездоров? — спросил я.

— Нет, разве я бываю когда-нибудь болен. У меня воловья природа, на меня ничего не действует... Ах, знаешь ли новость? — сказал он после минуты молчания, — Пивоваров женится.

— С чем его и поздравляю. Это, впрочем, меня мало интересует, — возразил я.

— Но как ты думаешь, на ком?

— Почему же я знаю. Ну, например?

— Черт знает, это просто ни на что не похоже! Как-то верить не хочется — на Ольге Петровне (так звали подругу сестры его).

— Может ли это быть! — вырвалось у меня невольно, — каким же это образом? Что может быть общего между этою девушкою и между этим господином.

— А между тем она будет его женою!.. В самом деле, не безобразно ли это?

— Да неужели ж это правда? Если бы мне это приснилось, я такой сон почел бы самым глупейшим из снов.

— Действительность-то, видно, иногда бы-

вает глупее снов, — возразил мой товарищ, — мне ужасно жаль эту девушку. Неправда ли, жаль ее?

— Но разве уж все решено?

— К несчастью. Старик, ее отец, и дедушка этого противного купчика — старинные приятели. Они, говорят, давно между собою решились это прекрасное дело: соединить со временем свои капиталы посредством этого брака. Ведь ее отец — это закоснелый, упорный мужик, который если заберет какую-нибудь чушь в голову, так ее колом потом из нее не выбьешь.

— Да она-то что же?

— Что ж она? ее и не спрашивали. Ей объявили, когда уж дело было решено. Это твой жених — и кончено. Говорят, она бросилась к отцу, умоляла его, чтоб он отменил свое решение, объявила ему, что она не любит этого господина и никогда любить не будет, а отец затопал ногами, поднял крик. "Дочь, говорит, должна повиноваться отцу, а не рассуждать. Отец лучше знает, что может составить счастье дочери. Еще ты молода, привыкнете друг к другу; после, говорит, слюбитесь", — и про-

чее в этом роде, как водится, а затем привели жениха, да и благословили их. Страшно, говорят, смотреть на эту бедную девушку! Сестра моя просто в отчаянии, — ты знаешь, как она любит ее. Мы вчера с сестрой имели неприятную сцену с матушкой. Она начала уверять нас, что Пивоваров прекрасная партия для нее... что чего же наконец ей нужно! не за князя же ей выйти замуж! что она все-таки купеческая дочь и что Пивоваров — жених, каких немного... что он легко бы мог даже сделать лучшую партию с таким огромным состоянием, какое у него в виду, то есть, что и дворянка могла бы осчастливить его своим согласием на брак!.. Я не выдержал и сказал ей, что так рассуждать, как рассуждает она, бесчеловечно... Тут поднялась буря, посыпались на меня жалобы, упреки; при этом удобном случае всё вычитали мне, что я не хочу служить, как следует, веду праздную жизнь, имею знакомства бог знает с какими людьми (ну это-то отчасти правда!), что Перфильев моложе меня, а уж давно камер-юнкером, что я не умею искать ни в ком, и прочее и прочее. В заключение нервический припадок, все это,

как следует. Мне-то это, впрочем, все ни по-
чем, с меня как с гуся вода, но мне больно за
сестру, она и без того расстроена, да и при та-
ких сценах она всегда страдает больше меня...
Что ж, — печально прибавил в заключение
мой товарищ, — нападать после этого на гру-
бость и бесчеловечие какого-нибудь разжив-
шегося и разъевшегося мужика, вроде отца
Ольги Петровны, когда женщины добрые,
считающиеся образованными, и притом дво-
рянского происхождения рассуждают не луч-
ше!.. Нет, любезный друг, жить скучно!..

Как будто для окончательного раздраже-
ния моего товарища в эту минуту явился к
нему Иван Петрович.

— Батюшка, Александр Григорьич, — заго-
ворил он, входя в комнату, — поздравьте нас,
на нашей улице праздник, мы женимся! Вот
будет пир-то горой! И невеста-то какая у
нас, — да ведь вы ее знаете, что вам говорить
об ней. Фея можно сказать эдакая, только уж
слишком эфирна, не мешало бы немножко
поплотнее. Теперь у нас в доме такая возня
идет — ужась! Дедушка-то наш дает нам осо-
бую половину возле себя в бельэтаже, уж от-

делывать начали: потолки мы вызолотим, стены шелком обобьем, зеркала до потолка пустим — знай наших! А там наследничка заведем — эдакого махонького. Одной мебели, я вам скажу, мы уж заказали Туру тысяч на пятнадцать, ей-богу. Мне жалко, что часы-то он подарил Шарлоте Федоровне, а эти бы часы в гостиную на мраморный камин — славно было бы, — уж таких часов в Петербурге ни за какие деньги не достанешь. И как я рад этой свадьбе, то есть вы не поверите; точно как будто я сам женюсь, ей-богу. Такое веселье пойдет теперь... эти свадебные банкеты, балы... гуляй, душа!

— Убирайтесь вы с вашими банкетами и балами, — вскрикнул мой товарищ с таким презрением и негодованием, какого я никогда не видел в нем. Иван Петрович вытаращил глаза от удивления и даже испугался.

— Веселье! — продолжал мой товарищ, — хорошо веселье, когда невесту потащат под венец силой!.. Если б в вашем глупом, беспутном Василье Прохорыче был хоть признак сердца, если б у него была хоть капля совести, хоть тень собственного достоинства, он отка-

зался бы от нее. Понимаете ли вы, что брать себе жену насильно — подло!.. Впрочем, и я дурак, что я вам это говорю... (Он разгорячался все более и более) вы не поймете этого, — ни вы, ни ваш Василий Прохорыч; вы бессмысленно радуетесь этому потому, что вы блюдолиз и по случаю этого брака вам представляется лишний раз наесться и напиться!..

Иван Петрович совсем оробел от такой резкой выходки, совершенно неожиданной для него, особенно от такого доброго, кроткого и вечно веселого человека, каков был Александр Григорьич. Иван Петрович переминался с ноги на ногу, посматривал жалобно то на него, то на меня, как будто глотал что-то, и бессвязно бормотал:

— Да нет, помилуйте, Александр Григорьич, я что же... я тут ничем не виноват-с... мое дело — сторона.

Товарищ мой молчал. Иван Петрович повертелся немного, потом начал было рассказывать какое-то новое похождение купеческого сына Мыльниковова, но, заметив, что его не слушают, и почувствовав неловкость, незаметно удалился.

VI

В последние дни перед свадьбою сестра моего товарища почти не оставляла ни на минуту своей подруги. "Я боюсь за нее, — говорила она мне, — она не перенесет этого. Меня пугает ее наружное спокойствие. Она как будто примирилась со своим положением, но это не примирение, а равнодушие отчаяния. Я вздумала было говорить ей обыкновенные утешительные пошлости и уверять ее, что в ее женихе, кажется, есть много хороших сторон, что она своим влиянием на него может со временем развить эти стороны и отвлечь его от дурного общества, в котором он находится, но она остановила меня. "Бога ради! — сказала она, — не говори того, чему ты сама не веришь. Я прошу тебя только об одном: не оставляй меня. Без тебя я с ума сойду!" — и она бросилась ко мне на грудь. "Господи! если бы я могла хоть плакать, прибавила она, мне все-таки было бы легче". Я не выдержала и высказала все ее отцу: но он отвечал мне на это: "Нет, матушка, вы уж, пожалуйста, не сбивайте ее с толку. Уж это наше дело, все это

пустяки, все обладится. Вы уж, сударыня, не беспокойтесь понапрасну".

Накануне свадьбы мы с товарищем моим стоворились вместе ехать в церковь. Он был в числе приглашенных, но не желал воспользоваться этим приглашением. Он хотел присутствовать на этой церемонии не официально, а тайно.

— Это зрелище, — говорил он, — плачевное; но, я сам не знаю отчего, — меня так и тянет посмотреть на него.

В 8 часов вечера мы вошли в церковь. Она была ярко освещена, все свечи в люстре и паникадилах были зажжены, как в дни великих торжеств. От самой паперти тянулся широкий ковер. По обеим сторонам поставлены были перилы, которые отделяли обычных и любопытных свадебных зрителей и зрительниц от приглашенных. На клиросе толпился большой хор певчих в парадных кафтанах с галунами, кистями и откидными рукавами.

Жених с своими родственниками и приятелями были уже в церкви и ожидали невесту.

Впереди всех стоял старик Пивоваров в

сюртуке с гербовыми пуговицами, во всех медалях и орденах, в белом галстуке и в белых лайковых перчатках, которые надевал он, может быть, раз пять или шесть в своей жизни, в самые торжественные случаи. Лицо его сияло удовольствием. Через несколько минут должна была осуществиться самая любимая мечта его. Он разговаривал с каким-то генералом в золотых галунах, в ленте и с двумя звездами.

Жених в белом галстуке с большим бантом, в белом жилете, на котором блестела цепочка с кучею брелоков, и в палевых перчатках, безукоризненно обтягивавших его руки, разговаривал с своими приятелями: Иваном Петровичем и купеческим сынком Мыльниковым, который стоял неподвижно, улыбаясь, и с трудом поворачивал свою завитую голову в сторону, боясь, вероятно, измять свои брыжи; жид-фактор, по своему обыкновению, выставлял голову вперед, скалил зубы и беспрестанно поворачивал голову из стороны в сторону, как бы обнюхивая носом кругом себя; Иван Петрович с умилением поглядывал то на дедушку, то на внучка, то на генерала в

ленте; на последнего с чувством благоговейного удовольствия, как будто, глядя на него, он думал: "Знай наших! вот какие у нас приятели!" Вдруг во всей толпе, наполнявшей церковь, обнаружилось движение, все головы обернулись к дверям, пронесся всеобщий шепот: "Невеста! невеста!" — и хор грянул концерт. Товарищ мой вздрогнул и поднялся на цыпочки, чтоб лучше видеть...

Я увидел невесту в ту минуту, когда она уже стояла рядом с женихом. Перед этим я давно не видал ее. Мне показалось, что она несколько похудела. Вглядываясь в нее пристально, я заметил, что она стояла совершенно без всякого движения, что даже ни один мускул на лице ее не шевелился и веки были полуопущены, точно как будто она замерла в таком положении.

— Посмотрите-ка, Пелагея Ивановна, — говорила сзади меня какая-то барыня, толкая под руку другую, — что это такое: в невесте-то ни кровинки, точно как не живая стоит, ейбогу.

— Да, да! а жених-то очень не дурен, очень! — возразила Пелагея Ивановна, —

ведь миллионщики, говорят, и он и она.

— Уж это всегда так, матушка, богатые к богатым и льнут...

— А посмотрите, посмотрите, что это жёних-то как будто пошатывается! — перебила Пелагея Ивановна.

Я взглянул на него, и мне точно показалось, что он... не то, чтобы пошатывался, а в корпусе его обнаруживались по временам какие-то неестественные движения, и лицо его было как-то уж очень красно, составляя решительный контраст с лицом его невесты. В эту минуту Иван Петрович, стоявший впереди нас за перилами, обратился к какому-то господину, стоявшему с ним рядом, и, улыбаясь, сказал:

— А ведь наш немножко... того, — и при этом он щелкнул по своему белому галстуку, — он, знаешь, перед самым отъездом для куражу один хватил целую сулеечку.

— Что ты?

— Ей-богу, — подтвердил Иван Петрович, — нельзя же, надо, знаешь, кровь привести в движение: ведь сегодня нам трудов-то будет много!

И они оба засмеялись.

— Вот уж это свадьба, так свадьба! — начала сзади меня Пелагея Ивановна, — какие певчие — чудо! а у дьякона-то какой голос!

Действительно, дьякон был замечательный! по крайней мере мне не удавалось слышать такого. Его глухой и густой бас гремел, как раскаты грома, под церковными сводами и, казалось, заставлял дребезжать стекла в оконных рамах. Протопоп благочестивой наружности с клинообразною седой бородкой, напротив, имел голос мягкий, нежный и едва слышный... Их блестящие ризы, яркое освещение церкви, хор нарядных певчих, генералы в блестящих мундирах, с лентами через плечо, купчихи, усыпанные брильянтами, все способствовало благолепию, блеску и торжественности бракосочетания.

Когда таинство совершилось, протопоп произнес краткое красноречивое поучительное слово к молодым, и затем начались поздравления, поцелуи и прочее.

Наблюдательная Пелагея Ивановна, все время не спускавшая глаз с молодых, вскрикнула в ту минуту, когда начались поздравле-

ния:

— Ах ты господи! Посмотрите, что это молодой-то как будто дурно... видите, видите, ее поддерживает эта барышня.

В самом деле ее поддерживала сестра моего товарища.

Толпа любопытных бросилась к церковной паперти, чтобы поближе взглянуть на молодых, когда они будут садиться в карету. Товарищ мой схватил меня на руку...

— Ну, довольно! — сказал он, — поедем ко мне чай пить...

Мы едва продрались сквозь толпу...

Чай уже давно стоял перед нами; товарищ мой ходил по комнате: я лежал на диване и курил сигару. Оба мы были в каком-то тяжелом раздумье и не произнесли еще ни одного слова.

Наконец товарищ мой остановился передо мною.

— Если подумаешь, как глупа наша жизнь, — сказал он, — так, право, делается страшно!.. Вот, например, возьми хоть мою жизнь... Что это такое? Я до сих пор был совершенно слепцом, ничего не понимал и не

видел, что делается передо мною, никакая серьезная человеческая мысль не приходила мне в голову, я никогда не задумывался ни о самом себе, ни о чем, окружавшем меня, — ел,пил и шутил, полжизни! А ведь я не дурак, имею кое-какое образование, мог бы быть на что-нибудь годным, — но полжизни бессмысленно и бессознательно протолкался на свете, бесполезно для самого себя и для других... чтобы заслужить от пошлых дураков лестное название доброго малого, славного товарища, — это ведь ужасно!.. Я наконец дошел до того, что оступел совершенно, и нахожу удовольствие в обществе шутов, подобных Ивану Петровичу, я считаю его добрым малым, точно так же, как и он меня в свою очередь; между нами начинается даже некоторого рода симпатия. Вася Пивоваров считает меня почти своим, я в этом убежден... да что Пивоваров?.. Разве мой друг Ртищев и тому подобные лучше его? Разве какойнибудь великосветский, утонченный шут, пресмыкающийся и расстилающийся перед всяким внешним величием и перед всякою силою, сам доползший до богатства и почестей ле-

стью и шуточками, лучше чем-нибудь купеческого грубого шута и блюдолиза Ивана Петровича? И мне совестно, что я последний раз оскорбил его, он ведь все-таки беззащитный!.. конечно, он гадок и подл, но он не чувствует этого, а я это вижу ясно — и пускаю его к себе для своей забавы! Какое же имею право оскорблять его? Нет! с каждым днем, с каждой минутой я более путаюсь в этой жизни, и мне становится тяжелее... Я во что бы то ни стало разом перерву все мои прежние связи и все эти трактирные и другие нелепые знакомства. Я уж одержал победу над собою, — поздравь меня, — я не велел пускать к себе Ивана Петровича и еще некоторых господ гораздо повыше его... Глядя сегодня на этих тупых, бессмысленных и толстых женщин с брильянтами и с черными зубами; на этих бородастых самодуров, налитых чаем; на этого расфранченного жениха, полупьяного дикаря в костюме английского денди и представляя себе будущую картину его супружеской жизни и страданий, ожидающих эту несчастную женщину, я задыхался от негодования... Ведь очень нужно было ей родиться в такой среде!

Впрочем, знаешь что?.. рассуждая хладнокровно, может быть, и в других средах участь ее была бы не легче.

Много ли бы она выиграла оттого, если бы родилась княжною и должна бы была сделаться, например, женою какого-нибудь князя Ртищева?.. Такие явления, как она, у нас исключения, а всякое исключение, все, что выходит из обыкновенного порядка вещей, — обречено на гибель. Ну, способны ли мы, — скажи по совести, — ценить эти редкие, утонченные женские натуры: ведь мы, со студенческих скамеек прямо, очертя голову, бросаемся в грязь жизни и потом по горло тонем в ней, пресыщаясь всевозможными и даже невозможными наслаждениями; мы — люди, рождающиеся в довольстве и в обеспечении, не привыкшие ни к каким заботам, ни к каким лишениям, не испытывавшие никогда, что такое нужда, имеющие возможность удовлетворять всем нашим прихотям — делаемся, как "плод до времени созрелый", ни на что не годными, нравственно растленными внутри... Мы нападаем на Пивоварова, а, в сущности, чем Пивоваров хуже какого-нибудь сын-

ка или внучка миллионера с великолепными титлами и гербами? И тот и другой одинаково подвергаются порче еще с отроческого возраста и представляют потом примеры возмутительной пустоты и беспутства. У того и другого с ранних лет образуется маленький двор из различных шутов, льстецов и угодников... Разница между ними та, что один — пустой и беспутный господин так называемого хорошего тона, а другой — дурного тона, и мы, язвительно нападая на последнего, защищаем первого потому только, что он пуст, беспутен и развратен по всем правилам какого-то нелепого, условного *comme il faut*. Хороши мы, нечего оказать!.. *Le bon ton, la vie elegante!* Видал я вблизи эту элегантную жизнь, — славная жизнь, нечего сказать!.. Татарская дикость одинаково скрывается и под элегантными формами какого-нибудь князька-миллионера и под франтовским костюмом Пивоварова или купеческого сына Мыльниковца, — только у последних она уже слишком резко бросается в глаза.

Товарищ мой был очень раздражен, и потому я не противоречил ему, да, признаюсь, и

противоречить-то было нечему.

— Во всех классах общества, конечно, есть люди хорошие, — продолжал он, — но если у нас встречаются люди в полном и благородном значении этого слова — с значением, с убеждением, с мыслию, — серьезные, дельные, самостоятельные люди, так они выходят из тех бедных классов, которые каждый шаг в жизни, чуть не с колыбели, принуждены брать с бою... А от нас ждать, кажется, нечего... Впрочем, я решил сделать последнюю попытку над собою: победить в себе лень, побороть пустоту и заставить себя заняться чем-нибудь серьезно. Мне давно предлагают такого рода место, на котором я могу быть, кажется, полезен. И теперь мне ничего более не остается, как отдать всего себя служебной деятельности. Что из этого выйдет, я не знаю, — но попробую... Как ты думаешь? — спросил он меня после минуты молчания.

— Это прекрасно, — отвечал я, — попробуй. Надобно же испытать самого себя.

Сложить руки и целый век стонать о своем бессилии, о своей неспособности — глупо и стыдно.

— Решено! С этой минуты я перерождаюсь!.. — произнес он с увлечением, — ты не поверишь, как иногда мне мучительно хочется дела, я ищу его — и оно, как клад, мне не дается, да если бы и далось, то в первое время я еще, мне кажется, не знал бы, как за него взяться. Все-таки надобно воспользоваться первым предстоящим случаем, а этот случай — именно место, которое предлагают мне.

Таким образом толкуя, мы просидели далеко за полночь. Товарищ мой несколько развеселился и, как человек увлекающийся, очень много фантазировал о предстоящей ему служебной деятельности.

Когда я уходил от него, он, провожая меня и улыбаясь, с грустным и горьким юмором, сказал:

— Ты скоро не узнаешь меня. Я в самом деле превращусь если не в дельного и серьезного человека, то в дельного и серьезного чиновника!.. А Ольга-то Петровна?.. — прибавил он через минуту, качая головою, — она уж жена Пивоварова!.. Черт знает, к этой мысли нет возможности привыкнуть!.. Ну прощай, до

свидания...

Он как-то быстро и круто повернулся и захлопнул дверью.

VII

Первое время после женитьбы я очень часто видел Пивоварова в ложе итальянской оперы, и всякий раз в этой ложе появлялся князь Ртищев и просиживал там очень долго.

Хозяин ложи предоставлял ему обыкновенно место впереди возле своей жены, а сам садился сзади, очень довольный тем, что весь Петербург видит, как он близок с князем.

Об этой близости его с князем Петербург, точно, начинал поговаривать очень громко.

Разные значительные лица при встрече с князем, благосклонно улыбаясь, спрашивали его:

— Ну что, любезный друг, как дела идут — хорошо? — и князь, почтительно наклонив голову, как будто не понимая вопроса, возражал улыбаясь:

— Какие дела? — стараясь смягчить несколько свой густой бас перед значительными лицами.

— Еще прикидывается! — замечали благо-
склонно значительные лица, — а! каков?.. А
вот мы насплетничаем на тебя твоей жене...

Я забыл сказать, что князь уже давно был
женат и даже был отец семейства.

— Не беспокойся, любезный друг, — про-
должали значительные лица, — мы постара-
емся быть скромными, а у тебя вкус не дурен,
надо отдать тебе справедливость.

*C'est une tres jolie femme et tout a fait
distinguee...* Откуда взялась этакая из купчих!
это странно!..

Однажды я сидел в опере рядом с моим то-
варищем. Впереди нас вертелся в антракте
изнеженный офицерик-фат, тот самый, с ко-
торым мы обедали некогда в ресторане. Он
разговаривал с каким-то штатским фатом.

— *Une jolie personne!* — говорил ломаясь
штатский, смотря в бинокль на ложу Пивова-
рова, — кто это такая?

— Где? — спросил офицерик.

— Вот эта дама, в ложе у которой князь
Ртищев.

— А-а!.. как будто ты не знаешь? Это жена
Пивоварова. Ртищев в связи с нею: это уж

весь город знает.

Товарищ мой побледнел.

— Я тебе не советую повторять этого, — сказал он, обращаясь к офицеру, — это ложь самая глупая, нелепая и бесстыдная, и если бы я услышал это от самого Ртищева, я и ему сказал бы, что он лжец и хвастун. Во всяком случае, распространять мерзкие городские сплетни и позорить женщину — неблагородно.

— Mais pardon, pardon, — забормотал офицер, — я говорю то, что все, может быть, это и несправедливо, но...

— Но, — перебил мой товарищ, — я этого не позволю никому говорить при мне, потому что я знаю эту женщину и вполне убежден, что это клевета.

Смущенный офицерик повертелся, пробормотал еще несколько pardon и удалился.

— Скажите пожалуйста, что это случилось с Сашей? — сказал он мне, останавливая меня при выходе из театра, — из веселого, доброго малого он превратился в какого-то мрачного чудака, избегает порядочного общества, удаляется от всех нас, придирается к каждому

слову, говорит неприятные вещи... Вы понимаете, что если бы не наша старая связь, не эта короткость, которая всегда существовала между нами, — я не позволил бы ему говорить мне так резко и еще при других! Я ему прощаю только потому, что я все-таки люблю его, что он наш старый приятель... Вы понимаете...

— Понимаю, — отвечал я, — "нет, ты простил бы всякому, любезный друг, — подумал я, — потому что ты жалкий, изнеженный фронт и трус..." Впрочем, не один этот офицер, а многие из прежних приятелей моего товарища начинали отзываться об нем неблагосклонно. Из этого я заключил, что он не шутя начинает делаться серьезнее. Он занял то место, о котором говорил мне, и отдался своему новому служебному поприщу с жаром и увлечением, по сознанию самых дельных из своих сослуживцев. К изумлению не только своих прежних приятелей, но вообще всех обычных посетителей публичных увеселений, между которыми он пользовался большою популярностью, он перестал появляться в театрах, в маскарадах, в ресторанах и на

увеселительных сходбищах. Сожаление и удивление его прежних приятелей скоро перешло в равнодушие и наконец почти в презрение к нему. "Он сделался совсем чиновником", — говорили об нем эти господа с гримасой.

Толки о жене внука миллионера и о князе Ртищеве скоро прекратились, потому что князь вдруг неизвестно почему перестал ездить к Пивоваровым. Так как жизнь нашего общества состоит по большей части из самых мелких интересов и сплетен, то всякое мельчайшее происшествие с известным лицом становится в преувеличенных размерах общим достоянием и предается различным толкованиям: одни говорили, что князь Ртищев перестал волочиться за женою Пивоварова, потому что она ему надоела; другие, напротив, уверяли, что он удалился от нее потому, что потерял терпение и всякую надежду на успех...

Говорят, что первый год внучек миллионера держал себя относительно своей жены довольно прилично, отчасти потому, что о красоте ее прокричали во всех слоях петербург-

ского общества, — следовательно, она удовлетворяла его тщеславию; отчасти потому, что дедушка объявил ему решительно, что если женатым он не станет вести себя, как следует, и по-прежнему будет предаваться дебоширству, то он лишит его наследства.

Но дедушка через полтора года после бракосочетания внука скончался, а вскоре за ним последовал и тесть молодого Пивоварова — отец Ольги Петровны. Василий Прохорыч сделался полным властелином миллионов, которые так давно издалека улыбались ему, и, кроме того, жена его получила, как говорили, после отца до миллиона.

Долго после этого слухи о богатстве Пивоварова, по обыкновению в размерах преувеличенных и колоссальных, занимали любопытные петербургские умы. Имя его сделалось известно всем в Петербурге от самого знатного сановника до самого бедного чиновника. При встрече с ним многие невольно останавливались и с любопытством, как чудо, рассматривали его с ног до головы. Василий Прохорыч при этом подавал постоянную пищу праздным петербургским умам, которые

сочиняли об нем удивительные анекдоты и даже целые легенды, содержания совершенно баснословного...

Василий Прохорыч, после смерти дедушки, начал с того, что разломал его старинный дом, прикупил к нему место за большие деньги и возвел огромное здание с кариатидами, статуями, вазами, гирляндами и другими архитектурными украшениями, во вкусе Расстрелли; вставил в оконные рамы цельные зеркальные стекла; меблировал внутри с неслыханною роскошью: наставил на мраморные подоконники у каждого окна бананов и других тропических растений, везде пустил шелки, бархаты, тюли; не пощадил мрамора, бронзы и, наконец, чтобы ни в чем не уступить своему сопернику по богатству Мавроконаки, развесил на всех стенах картины известных современных живописцев в дорогих резных рамах, несмотря на то, что к живописи не чувствовал ни малейшего расположения. Картины свои он приобрел оригинально. Он приехал однажды к Нигри — известному в Петербурге продавцу картин и других художественных вещей (Нигри сам по-

том с глубоким чувством благодарности, смешанным с ирониею, рассказывал мне об этом).

— Ну, говорит, мосье Нигри, мне нужны для моего нового дома самые лучшие картины первых иностранных мастеров и побольше; если у вас, говорит, не достанет, так вы мне их выпишите. Я денег не пожалею, только лишь бы были самые лучшие. Я полагаюсь вполне на вас.

Нигри привез ему до тридцати картин Кукуков, Каламов, Маду, Рокепланов, Декан и других самых громких имен между современными французскими и бельгийскими живописцами.

— Извольте, говорит, выбирать: это все шедевры. Картины расставили в большой бальной зале. Василий Прохорыч прошелся по зале, бросил беглый взгляд на картины и потом обратился к Нигри.

— Славные, говорит, картины, а что, видели их Мавроконаки?

— Как же! Он мне за одного Калама давал пять тысяч рублей, да я ему сказал, что эти картины выписаны для вас...

— Гм!.. — Василий Прохорыч приятно улыбнулся. — Ну, а сколько они все стоят?

Говорите только крайнюю цену.

— Шестьдесят пять тысяч, — отвечал Нигри, призадумавшись немного, — и то только в таком случае, если вы купите разом все.

— Уступите, говорит, что-нибудь.

— Тысячу рублей я, пожалуй, уступлю для вас, но более ни копейки.

— Ну так, говорит, по рукам, мосье Нигри. Картины все за мною.

И затем он повел Нигри в свой кабинет и отсчитал ему 64 000.

— Я, — прибавил мне Нигри в заключение, — больше тридцати лет торгую картинами, но такой случай со мной был первый раз в моей жизни. На такую сумму вдруг не всегда в жизни удастся продать. Когда он сказал мне что он оставляет все картины за собою, у меня дрожь пробежала по телу, а когда он вынул деньги, так у меня даже в глазах помутилось. Вот каков господин Пивоваров! Это редкий, великодушный человек!..

При этом рассказе в глазах г. Нигри дрожали слезы — и не мудрено.

Второй подвиг Пивоварова был — приобретение дачи, принадлежащей князю N.

Устройство этой дачи стоило ему также огромных денег. Его оранжереи, сады и парки приводили в свое время в справедливое изумление весь Петербург.

Тщеславие миллионера разрасталось все более и более. Он, говорят, скупал у портных целые груды модных материй для себя, чтобы ни у кого в Петербурге не было таких платьев, панталон и жилетов, как у него; подковывал рысаков своих серебряными подковами; угощал зимой свежими ягодами и другими редкостями военных и статских генералов, которые, обедаясь на его обедах, смотрели на него с чувством глубочайшей признательности и умиления и после обеда за ликерами, забывая свое величие и свой сан, прижимали его к своей сияющей груди с отцовскою нежностью.

— Вот человек, который умеет пользоваться своим богатством, — говорили они.

Но на этих банкетах с генералами, льстивших его тщеславию, он не мог развертываться вполне; они даже несколько утомляли и

тяготили его... и он отдыхал от них по вечерам в обществе людей своих, близких, к которым неизменно принадлежали: Иван Петрович, купеческий сынок Мыльников, жид-фактор, биржевой маклер и к которым вновь присоединились: актер, воспевавший его в застольных куплетах, и капельмейстер какого-то театра, посвящавший ему свои кадрили и польки. На этих задушевных сборищах выпивалось несметное количество так называемых сулеечек, и русский широкий разгул доходил до последних пределов. Все задушевные приятели Василия Прохорыча не терпели его жены и даже до некоторой степени боялись ее, — вероятно потому, что она держала себя от них далеко и обращалась с ними холодно, чувствуя, в свою очередь, некоторую боязнь к ним. Почетные гости Василия Прохорыча — военные и штатские генералы — не обнаруживали также к ней большого расположения.

Они отзывались об ней как об женщине сухой и холодной. И сам Василий Прохорыч явно начинал ощущать при ней какую-то неловкость; она стесняла его порывы и

невольюно останавливала его размашистость. От этого он старался держать себя как можно подальше от нее. Все это можно было безошибочно вывести из различных толков и слухов, особенно же из слов Ивана Петровича, который всякий раз при встрече со мною считал необходимым подходить ко мне и заводить со мною беседу.

— Наша Ольга Петровна, — говорил он, — прекрасная дама, только уж такая серьезная, строгая, что боже упаси! У, какая бедовая! Ни шуточкой ее не рассмешишь и никаким эдаким манером к ней не подъедешь. Такая, знаете, не тронь меня, и неразговорчивая: все больше любит уединение и книжки читает. А уж насчет того, чтобы эдак расположение кому обнаружить глазками или улыбкой — куда!.. На что князь Ртищев уж молодец! он, как знаете, подъезжал к нам, — да нет, с тем и отъехал: Взятки-то с нас гладки! Такая, я вам скажу, добродетель, что в нашем сословии, то есть в богатом купечестве, — я уж их всех голубушек-то знаю! — такой еще, кажется, и не бывало. Ей-богу! Точно, есть такие, что очень важно и строго себя держат, — а против како-

го-нибудь князя с аксельбантами да с саблей ни одна уж, я вам доложу, не устоит... Что и говорить: Ольга Петровна — это редкостная дама!.. Что касается до добродетели, то такую другую, конечно, и днем с огнем не отыщешь, только уж никакой веселости, точно как в воду опущенная: ничто ее не занимает, на все смотрит — на дорогие тысячные вещи, как на грошовые, и ласки ни за что не дождешься от ней, а вы сами изволите знать, что ласковая телятка две матки сосет.

Нашему-то натурально и хочется иногда, чтобы она приласкала его. Привезет он ей какую-нибудь шаль, тысяч в пять серебром, или эдакий эсклаваж какой-нибудь, который горит, как солнце, — хоть бы когда-нибудь за щеку, что ли, потрепала его или поцеловала, сказала бы: "Мерси, душка!" — ни за что, все твердит одно и то же: "Зачем мне это? На что это мне?" Ну это уж, как хотите, обидно: таким обращением, воля ваша, не привяжешь к себе. Не мудрено после этого, если мы будем и на сторонку поглядывать: да другим домком заживем-с. За это и винить нас нельзя будет... Да вот хоть бы, примерно, мы хотели балы да-

вать, — ведь эдакой домище, залы какие, само собой разумеется, что хочется щегольнуть ими: зимний сад осветили бы, фонтаны пустили бы, — весь Петербург ахнул бы, да нет-с, куда!.. Ольга Петровна и слышать не хочет, а ведь без хозяйки какой же бал!

И на наши званые-то обеды она выходит как будто нехотя, из одного только приличия, а не то чтобы занять гостей, обласкать, полюбезничать, как следует хозяйке, а гости-то какие, господа! первейший генералитет, звезды у нас за обедами, как в темную ночь на небе... Мыльников — тот иногда, знаете, просто брякнет, — так он раз сказал про нее: не в коня, говорит, корм. И дамы наши тоже ее не жалуют, никуда ведь ездить не хочет, только и дружбу ведет, что с сестрицей Александра Григорьича... Я, впрочем, очень уважаю Ольгу Петровну — прекраснейшая дама, умная, добрая такая, а уж это, видно, такой характер...

Каждый раз Иван Петрович заводил, между прочим, речь об моем товарище.

— Как их здоровье? — спрашивал он, — давно не имел счастья их видеть, их теперь

никогда и застать нельзя. Сделались важными, деловыми людьми: в министры смотрят, — так уж нашему брату разве только издалека на них посмотреть можно!..

VIII

После смерти дедушки внук миллионера совсем почти не появлялся в публику с своею женою. Он на театрах и на гуляньях был постоянно с Иваном Петровичем, который поотек, постарел и поседел несколько, но оставался по-прежнему шутником и забавником.

Василий Прохорыч также заметно изменился. Он значительно пополнел, и в лице его обнаружилась какая-то не совсем приятная пухлость и краснота. Он был одним из самых ревностных посетителей балета и сидел обыкновенно с Иваном Петровичем в первом ряду на абонированных креслах, изредка только, вероятно для разнообразия, появляясь в литерной ложе вместе с своей обычной компанией — и тогда из этой ложи раздавались громы рукоплесканий одной из хорошеньких корифеек, и к ногам ее сыпались до-

рогие букеты. Когда мне случилось бывать в балете, я заметил, что всех больше выходил из себя, кричал и аплодировал при ее появления на сцену Иван Петрович и жид-фактор. Так прошло года два...

На петербургской сцене, предшествуемая громкой репутацией, появилась танцовщица уже не первой легкости и молодости, но с роскошными, пластическими формами и с остатками грации, которой несколько вредила излишняя полнота. Несмотря на все ухищрения, принятые против нее поклонниками юных отечественных талантов, — приезжая танцовщица имела успех блистательный и заняла светские петербургские умы по крайней мере недели на две. Ее окружали все известные в Петербурге любители хореографического искусства и пластических форм — и один из почетных петербургских старцев, почтенный семидесятилетний театрал, раздававший венки славы всем наездницам, актрисам и танцовщицам, торжественно объявил, что если она не выше Тальони и Эльслер, то в своем роде не уступит ни одной из них; что она соединяет в себе легкость и грацию Тальони с

выразительною мимикой и пластичностью Эльслер.

Почтенный старец-театрал составил около себя клику из горячих молодых людей, неутомимых крикунов и хлопальщиков, и руководил ими. Приезжая танцовщица без поддержки почтенного старца не могла бы, конечно, иметь такого блистательного успеха, она знала это и награждала его самым кокетливым вниманием и ласкала своей пухлой, белой ручкой с драгоценными кольцами на пальце его морщинистые щеки, — а он, глядя на нее, замирал от умиления, отчего нижняя губа его почти совсем отваливалась...

Во главе ее поклонников, во второй же ее дебют, явился внучек миллионера в литерной ложе со всей своей компанией и с возом букетов. Корифейке, которую он протезировал, нанесен был в этот вечер удар неожиданный и страшный. Она вертелась, прыгала и делала пируэты, так что пот градом катился с ее личика, и в заключение подсакивала к рампе и, останавливаясь перед нею, тщетно улыбалась благосклонной публике, вызывая этой милой улыбкой ее одобрения... ни одно-

го звука, похожего на аплодисмент, не раздалось в этом бесчувственном партере, который еще с неделю назад тому восторженно приветствовал ее появления. Бедная девочка в тоскливом предчувствии чего-то недоброго, выправляя носки за кулисами, залилась горячими слезами.

Но когда во втором акте балета приезжая танцовщица, в три прыжка перелетев сцену, закружилась у рампы и потом упала на руки танцора, подняв очень высоко правую ножку и приняв неописанно-грациозную и соблазнительную позу; когда гром рукоплесканий раздался по зале, а из литерной ложи раздались дикие неистовые крики: *Brava! Brava!*.. — и посылались на сцену гирлянды и букеты, которые, казалось, готовы были затопить сцену, как во время Неронова пиршества, описанного г. Меем, и изумленные зрители обратились к цветочной ложе, несчастная корифейка, видевшая все это, поняла, что участь ее решена, и чуть не упала в обморок.

В следующем затем антракте Василий Прохорыч в белом галстуке, самодовольный и гордый, появился в партере... Почетный и по-

чтенный старец-театрал с глубоким чувством пожал ему руку, назвал его просвещенным любителем благородного хореографического искусства и заметил, что этот вечер навсегда останется памятным в театральных летописях.

После этого он даже удостоил пригласить Василия Прохорыча к себе на обед в честь приезжей знаменитости.

Обед этот мог назваться баснословным по роскоши. При окончании его, провозгласив тост приезжей знаменитости, маститый хозяин-театрал торжественно преклонил перед нею свои старческие, трудно сгибавшиеся колена...

С этого дня почетный старец принял внука миллионера под свое высокое покровительство, и вскоре затем пронесся в городе слух, что внук миллионера нанял для приезжей знаменитости квартиру в одной из лучших частей города и великолепно меблировал ее. Приезжая знаменитость начала появляться на Невском проспекте в ослепительном блеске и в поражающей роскоши, что отчасти еще более способствовало ее сценическим успе-

хам! Безусые офицеры и штатские франты начали сходить от нее с ума и всякий раз провожали ее на театральном подъезде, после представления, с криками, и когда однажды, тронутая таким энтузиазмом своих поклонников, она бросила им из кареты свой платок, они растерзали его на части, чтобы иметь каждому хоть по маленькому лоскуточку этой драгоценности, и носили его потом на груди, зашив в ладанку. Близкие сношения внука миллионера с приезжею знаменитостью возвысили его значительно в глазах многих петербургских господ; те, которые прежде не хотели смотреть на него, начали даже заискивать его знакомство... Это была самая блестящая минута его жизни; но в то время как нравственный кредит его поднялся до такой высоты, его денежный кредит начал пошатываться. Со смерти своего дедушки он почти прекратил все коммерческие дела и, как носились слухи, значительно тронул свои капиталы: на покупку домов и дач, на постройку новых зданий, меблировку и прочее, и прочее; при этом говорили, что перед своими короткими сношениями с приезжею зна-

менитостью он должен был внести предварительно на ее имя в какое-то кредитное учреждение до 300 000 р. серебром.

Приезжая знаменитость, как оказалось впоследствии, отличалась твердостью, настойчивостью и необыкновенною жадностью к деньгам и брильянтам. Она в домашней своей жизни была настоящая "Катарина, дочь разбойника" и не имела ничего общего с Сильфидами, Ундинами, Жизелями и со всеми этими восхитительными воздушными и идеальными существами, которых она так прекрасно олицетворяла на сцене.

Положительность и расчетливость руководила всеми ее поступками в жизни. Она выписала из-за границы мать, двух братьев, которых пристроила в цирк, и еще какого-то француза-кузена, молодого и рослого малого, с курчавыми, густыми волосами, с большими усами, с самодовольными и вполне беззащитными манерами, которому она отделила две комнаты в своей квартире... Вся эта орда содержалась, разумеется, на счет Василия Прохорыча, а у кузена завелись даже собственные экипажи.

Кузен, говорят, производил очень неприятное впечатление на Василия Прохорыча.

Его свободное обращение с кузиной возбуждало в Василье Прохорыче чувство ревности — и он однажды решился требовать, чтобы кузена отправили назад за границу, но это требование возбудило такую страшную бурю, после которой да уж окончательно и безусловно притих и подчинился новоприезжей знаменитости, убедясь, что с знаменитостями нельзя обращаться, как с обыкновенными женщинами, с какими-нибудь Луизами, корифейками и им подобными.

Уверяли, что во время этой бури разбит был, между прочим, вдребезги превосходный севрский сервиз, стоивший рублей семьсот, который был поднесен Василием Прохорычем приезжей знаменитости в день ее рождения.

— Вы думаете, что я дорожу этой дрянью, которую вы дарите мне? — кричала она, приняв угрожающую, трагическую позу...

И при этом драгоценный сервиз вместе со столиком из розового дерева, с фарфоровыми медальонами во вкусе Буше, полетел с гро-

мом к ногам несчастного обожателя, и черепки Севра разлетелись по всей комнате...

— Vous êtes un barbare! un monstre! un Cosaque!.. Я не могу жить с вами более ни минуты... Я не хочу более видеть вас, — и прочее.

Василий Прохорыч при мысли, что приезжая знаменитость бросит его, совершенно потерялся и упал перед нею на колени, вымаливая прощение за свои дерзкие слова; но прощение последовало только тогда, когда поднесены были новые дорогие сюрпризы и подарки. И такие сцены повторялись беспрестанно... Братья приезжей знаменитости — также знаменитый эквилибрист и клоун и не менее знаменитый наездник, рассыпавшие в разговоре через слово: Fichtre, parbleu, morbleu, diantre и другие, еще более энергичские, восклицания, вместе с кузеном распорядились самовластно в доме своей родственницы: угощали своих приятелей обедами и ужинами, распивали шампанское с утра до ночи, метали ланскене, до которого сама знаменитость была величайшая охотница, и, кроме всего, еще обыгрывали Василия Прохо-

рыча на значительные суммы...

Один из старинных знакомых Василия Прохорыча, известный петербургский аферист и ростовщик, родившийся, если я не ошибаюсь, от молдавана и мордовки, что-то вроде этого, с необыкновенным добродушием рассказывал однажды при мне на русском языке, с каким-то странным акцентом, о том, как он угощал у себя обедом приезжую знаменитость с братцами и Василия Прохорыча. Я передам только одну сущность этого неподражаемого рассказа.

— Василий Прохорыч, говорю я им (и во все время рассказа ростовщик улыбался с хитростью и изредка подмигивал одним глазом) — мне бы очень хотелось угостить вашу даму. Приятная дама. Ух, какой глаз, а как ножками работает — боже мой!.. Если б она сделала мне такую честь, я счастливейший в мире был бы человек!.. А мне ее, видите, больно хотелось заманить, потому что вот какое обстоятельство: Василий Прохорыч привел меня к ней, отрекомендовал, я к ручке подошел и обедал у нее — все как следует.

После обеда она подходит ко мне — тон-

кий эдакий взгляд, показывает на карты и спрашивает меня: мусье, говорит, будете в ланскенехт играть? Думаю, нельзя же отказать. Первый раз в доме, неловко, и такая барыня приятная. — Я говорю: "Буду, буду, мадам". А она мне на это по-русски: "Это корошо, корошо!" — И сели мы... Метали ихные братцы, молодцы такие на всякие фокусы... я все вижу, молчу, неловко же мне, первый раз в доме. Делать нечего, проиграл двести, рублей, вынул и заплатил. Но я сам себе не враг, я на-верстаю эти деньги, думаю себе, — они не пропадут. Я и позвал к себе откушать всю компанию, обед мне стоил триста рублей, вот и приметьте, стало быть, эта барыня стоила мне всего пятьсот рублей. После обеда я подхожу к ней, да и говорю так же, как она мне у себя дома: "Мадам, я говорю, будете в ланскенехт?" — и высыпал на стол всё золотые, такие новенькие, блестят. "Корошо, мосье, говорит, корошо", — а у самой глаз на золото так и разгорелся... И все с охотой уселись к столу... Я и начал метать, а я, вот видите, хоть и не умею по-ихнему фокусы делать, а своим манером делаю чисто, сансы уж все на моей сто-

роне, я это знаю заранее. Барыня всё проигрывает и горячится и куши надбавляет.

Тысячу пятьсот рублей проиграла. Я бы мог с нее десять, двадцать тысяч сорвать, но не хотел. Думаю, довольно, надо и совесть знать. Василий Прохорыч вынул полторы тысячи из кармана и тут же заплатил мне за них... Ну, а за что же я буду даром угощать, сами скажите, и своих денег вынимать из кармана! На деньги можно получить удовольствие, тогда деньги не жалко... Но опять же такие дела делать, как Василий Прохорыч, без расчета, это себе во вред, это опять не годится. Что он посадил в эту даму денег — никто поверить не может... Еще годик — другой так, может случиться дурно, и кредит свой подрвет... и честь потеряет, банкрот будет. Что же хорошего? Мне жаль его, сердце у него славное, все на широкую ногу любит, но деньга не щепка; деньга — счет любит.

Скопить миллионы трудно, а прожить — ничего не стоит. Ну теперь ему покуда деньги дают... теперь еще можно: у него еще женин капитал не тронут, а скоро придется, если все такую жизнь вести будут, и за женины де-

нежки приняться...

Ростовщик скорчил печальную гримасу, вздохнул и покачал головою.

Действительно, через год после этого пронеслись слухи в Петербурге, что дела Василия Прохорыча в величайшем расстройстве, что его дома, дровяные дворы и подвалы в Гостином дворе и на бирже, всё в залоге; что он уже взял значительную часть денег из капитала своей жены и сверх этого ищет еще занять тысяч до пятидесяти. В то же время говорили, будто приезжая знаменитость приобрела два дома в Париже, в последнюю свою поездку за границу.

Отношения к ней внука миллионера, по уверениям его близких, становились с каждым днем тягостнее, сцены между ними чаще и чаще. Не было никакой возможности бороться с ее ежедневно увеличивающимися капризами и с беззастенчивостью ее родственников.

Капризы эти доходили до мелочей невероятных. Несмотря на то, что у нее был повар-француз, с блестящей репутацией, которому платились огромные деньги, она уверя-

ла, например, что он не умеет готовить бульона, а что она без бульона ничего кушать не может; сердилась, выбегала из-за стола (это было только в те дни, когда Василий Прохорыч у нее обедал), и внучек миллионера должен был сам рыскать по всему городу за бульоном, но когда он являлся с бульоном, у нее пропадал аппетит и она выгоняла от себя своего обожателя вместе с бульоном.

Такого рода ежедневные сцены приводили в страшное раздражение Василия Прохорыча, и гнев его, ничем не удержимый, раздражался обыкновенно дома. Он вымещал на своей жене все оскорбления и неприятности, которые покорно и молчаливо выносил от своей возлюбленной...

Сестра моего товарища (вышедшая замуж за человека, которого она давно любила) и ее муж, узнав положительно о расстройстве дел Василия Прохорыча и о том, что Ольга Петровна отдала уже ему значительную часть из своего капитала, поняли, что для спасения ее надо действовать неотлагательно и решительно, — и они уговорили ее остальные принадлежащие ей деньги отдать в полное их

распоряжение...

Василий Прохорыч не подозревал этого. Ему понадобилось тысяч десять на покупку брильянтового кольца, которое он хотел поднести приезжей знаменитости в день ее бенефиса, надеясь таким подарком смягчить несколько ее строптивость.

Василий Прохорыч обратился за этими деньгами к жене, уверенный вполне, что отказа не будет, но когда Ольга Петровна объявила ему, что она уже не может располагать своими деньгами и что она отдала их, он сначала остолбенел от удивления, как будто не веря своим ушам, потом пришел в совершенное бешенство...

— Я знаю, кто тебе дает эти советы!.. — кричал он. — Я все понимаю... Это твой друг, твоя приятельница!.. Да я им не позволю вмешиваться в наши семейные дела! Я твой муж, но знаешь ли ты, что жена, по закону, должна во всем беспрекословно повиноваться мужу. Ты хочешь идти против закона? Я тебя заставлю повиноваться мне... От сегодняшнего дня я требую, чтобы нога твоя не была в доме той госпожи, которую ты считаешь своим другом!

Василий Прохорыч махал руками, топал ногами, принимал угрожающие позы и стучал кулаком по столу.

Но когда Ольга Петровна решительно и твердо объявила ему, что она скорее оставит его, чем свою приятельницу, Василий Прохорыч вдруг, удивленный таким неожиданным отпором, присмирел.

Он понимал, что, если она оставит его в эту минуту, он потеряет совершенно кредит: Василий Прохорыч попросил у нее извинения за свою горячность и поцеловал ее ручку. Он не был зол, и если бы жена его в самом деле вздумала оставить его, он, наверно, огорчился бы этим и, может быть, пролил бы даже несколько слез об ней втайне, хотя вообще он не питал к ней ни малейшей нежности, редко виделся с нею и не мог не сознать, что она даже несколько мешает его разгулу.

Когда я однажды спросил у сестры моего товарища:

— Каким образом такая женщина может жить с таким мужем? — она отвечала мне, что Ольга Петровна несколько раз сознавалась ей в том, что ее положению очень тя-

жело, что она не любит его, но между тем невольно чувствует к нему что-то вроде жалости, потому что у него доброе сердце...

Деньги на колье Василий Прохорыч достал через добродушного ростовщика молдавана более 50 на 100, и подарок был поднесен приезжей знаменитости после первого акта балета вместе с огромным и великолепным букетом.

Но ни угодливость, ни покорность, ни подарки — ничто не смягчало ее сурового сердца и строптивого нрава. Она беспощадно продолжала обирать и терзать своего несчастного обожателя. Василий Прохорыч, как настоящий русский человек, с горя запил.

Сулечки уже перестали удовлетворять его, он приступил к более солидным винам и начал колебаться между eau de vie de France, то есть коньяком, и очищенной.

Он напивался почти каждый вечер в своем задушевном кругу и в нетрезвом виде начинал обнаруживать буйство.

Однажды князь Ртищев, который после нескольких лет снова возобновил знакомство с Василием Прохорычем, уговорил его устро-

ить у себя вечеринку с цыганами.

Вечеринка эта по своим неожиданным трагическим последствиям произвела важный переворот в жизни внука миллионера и наделала большого шума в городе. Об ней рассказывали потом различным образом, но я сообщу здесь об ней достоверный рассказ одного из присутствовавших.

IX

Вечеринка была устроена в большой парадной столовой. Кроме задушевных приятелей Василия Прохорыча, неизбежных лиц на всех его пирах — Ивана Петровича, купеческого сына Мыльникова, жида-фактора, актера, капельмейстера и других, присутствовало еще несколько приятелей князя Ртищева.

Цыгане явились к 11 часам, и тотчас же началась попойка.

В одном из антрактов между песнями, когда уже было порядочно выпито, кто-то из присутствовавших заметил другому, отказывавшемуся от вина, что он боится пить оттого, что находится под башмаком у жены. Князь Ртищев подхватил это и, потрепав по

плечу внука миллионера, обратился ко всем, улыбаясь, и сказал:

— А ведь как вы думаете, господа, наш амфирион тоже под башмаком у своей супруги!

— У которой? — вскрикнул кто-то.

— Я говорю про законную, — отвечал князь, — у других-то, батюшка, мы все под башмаками! Василий Прохорыч несколько обиделся.

— Ну что, неправда, что ли? — спросил его князь.

— Нисколько, с чего ты это взял? — возразил Василий Прохорыч, — я ссылаюсь на всех вас (он обратился к своим друзьям), кто хозяин в доме, кто распоряжается всем, я или она?

— Еще бы! разумеется — ты, — закричали ему друзья в один голос.

— Нет, ваше сиятельство, уж этого никак нельзя сказать про Василия Прохорыча, они, точно, что глава в доме, — прибавил Иван Петрович, обратившись к Ртищеву.

Ртищев взглянул на Ивана Петровича, как на прожужжавшего комара или на пролетевшую муху, повернув чуть-чуть голову в его сторону.

— Я повторяю, что ты под башмаком у жены, — сказал он, обращаясь к Василию Прохорычу, — полно, не притворяйся. Ты думаешь, что я поверю этим (князь Ртищев кивнул головой в ту сторону, где сидел Иван Петрович и жид-фактор), — свидетельство людей подчиненных нельзя принимать. Ну докажи, что ты господин у себя в доме и что не ты находишься под властью у жены, а жена под твоею властью.

— Хорошо, но как же это доказать?

— Очень просто, — отвечал князь Ртищев, — если Ольга Петровна явится сюда к нам теперь, хоть на минуту, я беру свое слово назад и сознаюсь, что я ошибался.

Василий Прохорыч призадумался, выпил залпом стакан вина и потом произнес решительно и торжественно:

— Через пять минут она будет здесь.

— Bravo! — воскликнул князь.

— Bravo! — крикнули вслед за ним другие.

Через несколько времени Василий Прохорыч явился действительно с Ольгою Петровою.

Только что она переступила порог комна-

ты, как грянуло оглушающее "ура!", повторив-
шеяся троекратно.

— Здоровье Ольги Петровны! — закричал князь Ртищев, взяв бокал и подходя к ней.

— Здоровье Ольги Петровны! — повторило все собрание.

— Я пью ваше здоровье, — сказал ей князь Ртищев тихим голосом.

Передавший мне эту сцену заметил, что появление этой несчастной женщины в полупьяной и дикой компании, среди разрумяненных и наглых цыганок, при щелканье пробок и при неистовых, оглушающих криках произвело на него страшное впечатление.

— Мне вдруг стало стыдно за себя, что я попал в это общество, — говорил он, — я почувствовал презрение и негодование ко всем этим господам и тут же дал себе слово прекратить с ними всякие сношения. У меня сердце обливалось кровью, глядя на эту бедную женщину!

Когда она вошла, в первую минуту лицо ее выражало не то испуг, не то недоумение, а когда князь Ртищев подошел к ней и заговорил

с нею, она вся помертвела.

— Величанье Ольге Петровне! — закричал Ртищев, подставляя стул и садясь возле нее.

Когда цыгане пропели величанье, он наклонился к ней и что-то начал нашептывать ей. Лицо ее в это время быстро менялась, она то краснела, то снова бледнела... вдруг он взял ее за руку, но она отдернула от него руку судорожно.

В эту минуту муж ее, который не мог уже твердо держаться на ногах, постоянно следивший за нею и за князем Ртищевым, посматривая на него мрачно и озирая его с ног до головы, ко всеобщему удивлению выступил вперед.

— Милостивый государь, — начал он, обратившись к Ртищеву, — я не позволю вам волючиться за моею женою. Слышите ли? Вы опять за старое, я все знал, все видел, и молчал только потому, что не хотел говорить, а мне вое равно, что вы князь. Вы говорите, что я у нее под башмаком, так я же вам докажу, что я не под башмаком у нее, — я не потерплю, чтобы она позволяла вам за собой волючиться. Я ей этого не позволю, я с ней могу все

сделать и из дому ее выгнать, потому, что я муж.

— Василий Прохорыч, полноте... что это вы?.. — заговорили в один голос приятели, испуганные такую неожиданною выходкою. Князь Ртищев сердито посмотрел на них и только проговорил сквозь зубы:

— Оставьте его, он пьян! С ним можно будет говорить только тогда, когда он проспится.

— Я пьян?.. — С этим словом внук миллионера хотел было броситься на князя, но его удержали, Ольга Петровна в эту минуту вскочила со стула, но вдруг вскрикнула и упала на пол. Ее подняли и вынесли, а Василий Прохорыч начал после этого рваться к ней, колотить себя в грудь и плакать. Князь Ртищев грозил убить его, все остальные старались успокоить его и разошлись в величайшей тревоге.

Говорят, что внучек миллионера просил потом прощения у князя и что князь по великодушию своему не только простил его, но даже вслед за тем распил вместе с ним несколько сулеек шампанского.

Через два дня после этой сцены, о которой мне рассказывали на другой день, мой товарищ заехал ко мне часу в седьмом вечера. На нем, как говорится, лица не было. Я испугался, взглянув на него.

— Я у тебя нечаянно... — сказал он, — возле тебя живет доктор, которого я ищу... я не застал его дома. Мне сказали, что он воротится через четверть часа...

— Что ты, болен? — спросил я, — что с тобой? Ты страшно изменился.

— Я совершенно здоров, — это я не для себя. Бедная Ольга Петровна умирает. Она у моей сестры уже два дня. Сестра перевезла ее больную к себе, и сегодня ей сделалось хуже. Я знал, что это должно кончиться трагически рано или поздно, так и случилось... Ее доктор сказал, что у нее начинается нервическая горячка... В сию минуту она в бреду.

Товарищ мой, говоря это, ходил в беспокойстве по комнате и беспрестанно смотрел на часы.

— Ни я, ни сестра не слишком доверяем ее доктору, потому я и хочу пригласить твоего соседа. Его все хвалят... Не правда ли, он хо-

роший доктор?.. Да ты ничего не слышал, — спросил он, остановись вдруг против меня, — ты не знаешь, какую сцену перенесла она?..

— Я знаю, — отвечал я, — мне обо всем рассказывал один из свидетелей.

— Этот пьяный негодяй — муж ее, силою притащил ее на свою грязную пирушку и спьяна вдруг начал ревновать ее к Ртищеву, хотя прежде он радовался, что Ртищев волочился за нею, и даже хвастал этим. А Ртищев-то хорош!.. Он нагло приставал, надо-едал, не давал покоя этой несчастной женщине в течение целого года, компрометировал ее. Она все передавала моей сестре, ты знаешь их дружбу. Ольга Петровна, несмотря на свою доброту и кротость, не могла никогда говорить об этом человеке без отвращения... И если бы ты мог представить себе, какие меры употреблял этот господин, — и ведь он еще отец семейства! — для достижения своей цели, с какою бессовестностью он вел себя относительно ее и как он потом мстил ей, когда убедился, что ему ничто не удастся; что он наговорил ей в этот вечер при первой встрече с нею после нескольких лет!.. Если бы это пере-

дал мне кто-нибудь другой, если бы я слышал это не от сестры моей, которая слышала все от самой Ольги Петровны, я не поверил бы этому. И он позволял себе все это потому только, что он князь, а она жена купца. Что такое для него, князя, жена купца? Он хоть всю жизнь возится с барышниками и с пьяными цыганами, хоть у него больше лошадиная, чем человеческая природа, — несмотря на это, он с ног до головы все-таки проникнут своим аристократическим достоинством...

И такого господина я считал своим приятелем и называл добрым малым! Но прощай, однако, мне пора... Ну что, если я опять не застану этого доктора? Что я буду делать?..

Сделай мне дружбу, поедем вместе — мне надо сию же минуту во что бы то ни стало догнать доктора... надо спасти ее во что бы то ни стало!..

Товарищ мой был в таком волнении и беспокойстве, что и без его просьбы я не оставил бы его одного...

Жизнь Ольги Петровны в течение некоторого времени подвергалась величайшей опасности, так что доктора теряли надежду на ее

выздоровление и потом сами признавались, что она спаслась каким-то чудом. Во все время ее болезни, которая продолжалась четыре месяца, сестра моего товарища не отходила от ее постели и товарищ мой все это время почти жил у сестры.

Ольга Петровна начала выздоравливать к началу весны. Доктора для окончательного поправления ее здоровья посоветовали ей ехать за границу, и она отправилась вместе с сестрою моего товарища и ее мужем на первом пароходе.

Через два месяца после их отъезда товарищ мой объявил, что он выходит в отставку и также намерен отправиться за границу.

— Я чувствую, — говорил он мне, — что мне необходимо оторваться на время от всех моих пошлых воспоминаний, которые не дают мне покоя и пробуждаются здесь неволью на каждом шагу; отдохнуть от всех оскорблений, огорчений, обманутых надежд, забыть всю эту жизнь, даже все эти улицы, здания, обычаи и в особенности лица, которые я не могу видеть без раздражения и от каждого слова которых у меня разливается желчь...

Тяжело провести полжизни бессознательно, бессмысленно, в какой-то страшной пустоте и в чаду и потом, утратив половину энергии, половину способностей, одурев несколько от этой жизни, сознать все это; но еще тяжелее, ощутив потребность серьезной деятельности, горячее желание принести хоть крупицу пользы, сделать хоть что-нибудь доброе и порядочное в жизни, чтобы искупить свое прошлое, — дойти наконец опытом до сознания, что все это мечта, что рутина и предрассудки еще так сильны, что из борьбы с ними невозможно выйти победителем... Я бился больше трех лет как рыба об лед, и что же из этого вышло? Люди, и очень значительные люди, которые оказывали мне величайшую благосклонность и даже подталкивали меня вперед, когда я ничего не делал и вел пустейшую и беспутнейшую жизнь, которые называли меня тогда "славным и добрым малым" и даже удостоивали меня протягивать свои руки, — отвернулись от меня, когда я принялся за дело горячо и серьезно, не отступая ни перед кем от своих убеждений и не продавая их. Все эти значительные люди го-

ворят обо мне теперь, что я "или дурак, или человек беспокойный и вредный..." Когда я обратился по одному вопиющему делу к одному из таких значительных лиц, оказывавших мне свое высокое благоволение, — он мне приходится еще и родственник немного, — и рассказал ему все дело в подробности и роль, которую я в нем принял на себя, и просил его содействия и помощи, он сказал мне: "Ты действуешь благородно и честно. Мешать я тебе не буду, но на мою помощь не надейся. Мое имя тут не должно быть вмешано..." И мне остается теперь на выбор — или изменить своим убеждениям, то есть сделаться подлецом — и продолжать с успехом подвизаться на служебном поприще, получая потом через два года награды, как это обыкновенно водится, — или бросить все и уехать куда-нибудь подальше. Я уж, во всяком случае, последнее предпочитаю первому... А и то сказать — нельзя же безусловно складывать все на других и оправдывать самого себя. Из всего нашего поколения, кажется, никакого толку не выйдет. Мы не приготовлены для борьбы, и большая часть из этого поколения, — я гово-

рю о самых замечательных и лучших людях, — теряют всякую энергию и падают духом при малейшем препятствии. А уж если лучшие люди таковы, — так чего же ожидать от нас. У нас нет ни терпенья, ни силы воли, ни ловкости, чтобы взяться за дело!.. Мы представляем какое-то печальное и жалкое зрелище и в общественной и в частной жизни. На словах мы мыслители, герои, а чуть до дела, то при малейшем препятствии, при малейшей опасности, — и даже недоразумении, сейчас на попятный двор, и потом уверяем себя, что истожили все силы в борьбе, сделали все, что можно, — вот так, как я себя теперь уверяю; а другой на моем месте, может быть, и преодолел бы препятствия, и не отстал бы от дела так скоро...

Товарищ мой остановился на минуту, грустно улыбнулся я прибавил:

— Впрочем, такого героя, я думаю, найти трудно. Давид победил одного Голиафа, но с десятками Голиафов он все-таки не выдержал бы борьбу... Нет, за границу, поскорей за границу!..

Слушая эти речи моего товарища, я думал:

"Как самые прямодушные и откровенные люди иногда при объяснении своих поступков забавно стараются обманывать и других и самих себя! Не препятствия и неприятности по служебной деятельности, а совсем другое обстоятельство, которое разгадать было не трудно, манило его за границу, но он как будто самому себе боялся признаться в этом..." Перед самой минутой расставанья он обнял меня и еще двух своих приятелей, которые провожали его, и сказал нам сквозь слезы:

— Ну, прощайте друзья! Вряд ли мы скоро увидимся. Здесь мне нечего делать. Я убедился в этом. Жизнь моя вообще как-то дурно устроилась. Я никому не нужен, да и сам себе становлюсь в тягость. Прощайте...

Мне говорили (я, однако, не ручаюсь за это), что внук миллионера очень раскаивался в своем поступке с женою и даже (это уж непонятно) несколько дней скучал без нее.

Приезжая знаменитость также оставила его вскоре после этого. Она с кузенком отправилась за границу, потому что дирекция театров не возобновила с нею контракта.

Внук миллионера близился к банкротству. Дома и дачи его были проданы с аукционного торга, и люди знающие говорили, что за уплатой всех долгов у него должна остаться весьма небольшая сумма денег. Переезд Ивана Петровича к купеческому сынку Мыльникову яснее всего обнаруживал, в каком печальном состоянии находятся дела Василия Прохорыча.

Через три года после отъезда за границу его жены существование его совсем изгладилось... Он как в воду канул и нигде не показывался.

Х

С отъезда моего товарища за границу прошло уже четыре года. Я получил от него несколько писем, хотя он вообще по своей ленивой природе писать письма не охотник, даже к друзьям, и я не обвиняю его за это. Он пишет только тогда, когда у него накапливается и когда он чувствует уже непреодолимую потребность высказаться. Такого рода друзья (по моему мнению) гораздо приятнее и удобнее тех, которые вместо писем посылают вам обыкновенно целые трактаты и диссертации, если не еженедельно, то уж наверно ежемесячно. Какую бы пламенную дружбу вы ни питали к человеку, но читать груды тонких почтовых листов, мелко исписанных, хотя бы дружескою рукою, — это величайшее из наказаний.

Письма моего товарища из-за границы (всегда очень короткие) постепенно становились все грустней и грустней. В конце их он всегда прибавлял несколько строчек об Ольге Петровне. Из них можно было заключить, что сначала теплый климат подействовал на нее

благодетельно и ни товарищ мой, ни сестра его не сомневались в том, что она совершенно поправится; потом надежды эти понемногу слабели, — она начинала чувствовать припадки болезни неисцелимой, — и наконец обратились в боязнь за ее жизнь.

Вот отрывок из последнего письма моего товарища:

"Я пишу к тебе в той комнате, в которой лежит наша больная, и боюсь, чтобы скрип моего пера не потревожил ее. Из этого ты можешь заключить, в каком положении она находится... Боже мой! если бы ты мог вообразить, как она изменилась, как похудела!

Но несмотря на все страдания болезни, она сохранила вполне свою прежнюю привлекательность, то милое выражение, которое ты, верно, помнишь и которое с первого взгляда привлекало к ней всякого порядочного человека. Если бы ты знал, сколько желчи, негодования и презрения во мне сию минуту к самому себе, к непростительной дряблости моего характера, смешанной с возмутительным легкомыслием!

Ты, верно, догадывался, что я люблю ее. Несмотря на наши дружеские отношения, я никогда тебе не говорил об этом, потому что я сам только об этом догадывался! В этом нет ничего удивительного, потому что я не был до сей минуты человеком вполне, и догадывался только, что я человек... Разве было, в самом деле, что-нибудь человеческое в моей прежней дикой, беспутной жизни?.. Только увидев в первый раз ее, я сознал, что внутри меня есть все то, что отличает человека от животного, и чувство, и мысль, и сердце, не в смысле куска мяса, а способное к благородным движениям и готовое биться для возвышенных ощущений. Я ей обязан всем этим. И знаешь ли, если бы я до этого не был избалованным, пустым и оупевшим барчонком, праздным кутилою без смысла и воли, — если бы я был человеком с самостоятельностью, с разумной силой воли, с энергией... я мог бы быть счастлив, бесконечно счастлив. Я ей не был противен, она питала ко мне даже некоторое расположение, и в сию минуту, когда смерть стоит между ею и мною, теперь я убедился, что она и любит меня, — и только те-

перь я ощущаю в себе силы человека и готов на все для ее спасения, когда уже для нее нет спасения!

А счастье было в моих руках... Разве с любовью в сердце, вполне сознанный, с энергией, свойственной всякому разумному существу, я не преодолел бы для нее все препятствия, как бы они ни казались непреодолимыми, и не предупредил этот несчастных! брак, который сводит ее теперь в могилу?.. Как ни был дик, груб и упорен ее отец, — он все-таки любил ее... Но я, как презренный трус, увидев препятствие, тотчас свернул в сторону, стал уверять себя и успокаивать тем, что я не способен к семейной жизни, что я не могу составить счастья этой девушки, что наконец, если бы я решился жениться на ней, то это огорчит мою маменьку... Я тебе признаюсь во всем в сию минуту... я не боюсь теперь твоего презрения, потому что я сам презираю себя: упрекая мою мать в предрассудках касты, я сам, обвиняющий, был до того заражен этими предрассудками, что в иные минуты, несмотря на непреодолимое мое влечение к Ольге Петровне, мысль, что она дочь купца,

смущала меня. Я краснел от этого, сознавая все безобразие этого смущения, но, однако, с трудом побеждал его в себе...

Когда она вышла замуж и Ртищев — мой друг начал наглым образом ухаживать за нею и хвастать своим волокитством, я — человек, любивший ее, молчал и только внутренне озлоблялся... Я не зажал рта этому наглому господину и не назвал его в глаза подлецом, как я ни порывался на это. Я оправдывал себя тем, что это еще более может повредить ей, наделает скандала... Но, в сущности, я боялся скандала не за нее, а за себя... Пойми же ты всю бесконечность, всю постыдную неизмеримость такого бессилия!..

Куда же и на что же мы годны после этого?.. Что же доброго можем мы сделать?..

И теперь еще, написав это мы, я ведь утешаю себя, что не один я таков, что все наше поколение так ничтожно я слабо.

Несмотря на все мои прошлые беспутства и теперешние внутренние муки, — я здоров: у меня широкая грудь, которая от камня не разобьется, как у знаменитого Раппо; я дышу так полно и свободно, а у нее осталось легких,

может быть, только на месяц!..

Спрашивается, для чего природа наградила меня таким здоровьем и к чему мне оно?.." Много времени прошло после этого письма, но с тех пор я не получал от него ни одной строчки и ни от кого не слыхал ни об нем, ни об ней. Мать его давно переселилась в деревню, а к петербургским своим приятелям он не писал больше полугода... Где он и что с ним?

Недавно вечером я шел по ораниенбаумской дороге. Верстах в двух не доходя до Петергофа, на левой стороне к морю, недалеко от большой дороги, стоит особняком в песке двухэтажный безобразный дом с мезонином, окрашенный темно-желтой краской, с тремя торчащими перед ним небольшими соснами. На этом доме полинялая и облупившаяся вывеска, на которой золотыми буквами изображено: "Трактир Traiteur Tracteur". В середине дома крыльцо с шестью ступеньками; влево от крыльца окна, в которых видны грязные и оборванные кисейные занавески; верхний этаж кажется необитаем. Я всегда недоумевал, для чего существует этот "Tracteur".

Проходя в этот раз мимо этого непонятно-

го заведения, я увидел у крыльца его новые запыленные дрожки, запряженные тройкой; извозчик, малый лет под тридцать, красивый собой, в синем тонком армяке и в шляпе набекрень, принадлежавший к тому роду извозчиков, которых обыкновенно называют лихачами и которые от Аничкина до Полицейского моста запрашивают не менее двух целковых, — сидел подбоченясь и несколько развалившись на сиденье для седоков... Один мой литературный друг — человек очень наблюдательный и остроумный, заметил однажды, что к самому наглому и безнравственному классу петербургского народонаселения принадлежат банщики, швейцары, лакеи аристократических домов и извозчики-лихачи. Это очень верно, особливо относительно последних. Извозчик-лихач: что-то кричал, поглядывая на господина, одетого франтовски, но в поистершемся платье и в фуражке также набекрень.

На крыльце стоял половой, а неподалеку от господина в фуражке другой господин, с седой, небритой несколько дней бородой, в оборванных пестрых штанах с фестонами, в ис-

тертом светло-коричневом сюртуке и в зимней фуражке из желтых мерлушек. Издалека было заметно, что господин в фуражке, который был пьян, уговаривал о чем-то лихача извозчика и что извозчик не соглашался.

Лихач был также навеселе.

Я подошел поближе.

Черты пьяного господина, уговаривающего лихача, показались мне как будто знакомыми. Это меня удивило несколько, и я начал в него пристальнее вглядываться.

Оказалось, что это был г. Пивоваров, внук русского миллионера, что меня несколько не удивило... Несмотря на то, что он совершенно отек и что лицо его, все испещренное жилками, приняло багровый оттенок, я, взглядев-шись в него, узнал его тотчас.

— Ну, послушай, Ваня, — говорил внук миллионера, обращаясь к лихачу с убедительными жестами, к которым так любят прибегать все пьяные, — ну, сделай ты мне это одолжение... я тебя прошу, понимаешь ты это... я тебя прошу... мы, братец, переночуем в Петергофе, кутнем вместе, а завтра в город...

— Да на что кутить-то? — возразил ли-

хач, — прыти-то в вас много, да толку-то мало.

Ведь гроша в кармане нет... а еще кутить!

— Ваня... послушай, Ваня... я тебе клянусь, — и внук миллионера поднял руку к небу и потом размахнул ею, — вот все они свидетели...

— Мы свидетели, — перебил господин в фуражке из желтых мерлушек, приподняв фуражку двумя опухшими пальцами и с заискивающей улыбкой посмотрев на внука миллионера, — мы свидетели! — повторил он.

Лихач презрительно улыбнулся.

— Они все свидетели, — продолжал внук миллионера, — ты мне только дай пятнадцать рублей — я завтра отдам тебе, ей-богу отдам... уж ты мной будешь доволен, я тебе говорю, что угощу, Ваня, ей-богу, то есть так угощу — вот ты увидишь.

— Угостишь на мои деньги-то! Хорошо угощение! Да что тут толковать? Нечего тут балясы-то попусту точить. Едем сейчас в Петербург... Что в самом деле?

— Ваня, ну смотри, Ваня! — И внук миллионера погрозил ему пальцем... — я тебе сколь-

ко передавал денег... Вспомни ты это одно! Я миллионами, братец, ворочал; у меня деньги есть, я отдам тебе пятнадцать рублей... Честное слово. Что мне пятнадцать рублей — наплевать.

— Они отдадут, непременно отдадут! — прохрипел господин в фуражке из желтых мерлушек.

— Вот слышишь? он мне верит... Эй, половой! подай ему за это стакан водки... Вот тебе четвертак — возьми! — и он бросил монету на песок.

Половой долго рылся, отыскивая ее, наконец нашел и отправился за водкой.

Господин в фуражке из желтых мерлушек взял стакан дрожащей рукой.

— Ну, пей за мое здоровье! — вскрикнул внук миллионера, обращаясь к господину в фуражке из желтых мерлушек, — пей и поклонись мне в ноги. Слышишь?

— Слушаю, благодетель, слушаю! — вскрикнул господин в желтых мерлушках, разом выпил стакан, крякнул с неописанным наслаждением, прокричал: ура! и потом бухнулся в ноги промотавшегося миллионера.

— Кто это? — спросил я у половою...

— Этот, что в ногах-то валяется? Это так, пьянчужка, петергофский мещанин, — отвечал он презрительно.

— Ну, а этот господин зачем остановился тут у вас?

— Пива спрашивали, пить захотелось, — из Рамбова едут, извозчик говорил, что они всю ночь там прокутили...

Я не дождался конца этой грязной сцены и побрел к морю...

Это была моя последняя встреча с внуком миллионера.

Мне сделалось тяжело и грустно. Здесь этот спившийся купчик, в несколько лет промотавший миллионы, перешедший через все степени беспутства и оканчивающий свое поприще у грязной харчевни на большой дороге, и там, далеко за морем, загубленная им умирающая женщина — и мой бедный друг... Какие странные сближения!.. и кого винить во всем этом — судьбу, случай, отдельные лица, общество?..

Я подходил к морю.

Широкая и чудная картина развертыва-

лась передо мною... На бесконечном водяном пространстве не было заметно ни малейшей зыби. Море не дышало. Оно было гладко как стекло, отражая на своей поверхности вечернее зарево ярко-розовыми и бледно-палевыми полосами, которые, удаляясь от заката, бледнели, принимая опаловый цвет... На этой беловатой поверхности резко чернелись две неподвижные рыбацьи лодки и в них также два неподвижных человеческих силуэта. Далее к востоку море исчезало в синеватой мгле. Ни один листок не шевелился на прибрежных деревьях, ни малейшего звука и движения не слышно было в воздухе. Я подошел к самой окраине моря и долго стоял, смотря на эту картину и боясь пошевелинуться, чтобы не нарушить торжественного спокойствия, в которое погружена была в эту минуту природа... Я начинал дышать легче, вдыхая в себя морскую свежесть вместе с запахом только что скошенной травы; я чувствовал, как постепенно гасли все мои мысли, замирали все вопросы внутри меня и бледнели все образы, вызванные моим воображением... Эта тишина природы с каждой минутой все более и бо-

лее сообщалась мне и охватывала всего меня... Я уж ничего не мог думать, голова моя была как в тумане, я не мог оторвать глаз от моря и начинал.

Камелии Знакомство с камелиями еще легче. Есть много способов знакомиться с ними, и тот, который я расскажу вас сейчас, еще не из легчайших.

Волнение и нетерпение моего иногороднего друга и непреодолимое желание разгадать, кто его маска, возрастали в нем с каждой минутой по мере приближения маскарада, в котором тайна должна была открыться. Он подозревал ее в каждом хорошеньком личике, которое встречал на улицах, и преследовал беспокойным и подозрительным взглядом каждую женщину, одетую со вкусом. Однажды в опере (мы сидели рядом) он долго смотрел в свой бинокль на даму с белокурыми, пушистыми локонами, которую он увидел в первый раз, в платье белого дама с черными кружевами, потому что в ней он по какой-то причине более всего подозревал свою маску.

И вдруг он обратился ко мне:

— Ты хорошо знаком с этою госпожою? — спросил он меня, указывая на ложу.

— Ну, так что ж?..

— Ты можешь меня представить к ней?

— Хоть сию минуту. Отчего же ты прежде мне не сказал об этом? Я бы давно тебя представил.

— Так, мне не хотелось, а теперь я бы желал. Только что занавес, после первого действия, опустился, мы отправились наверх.

Мы вошли в маленькую комнату перед ложей, в которой стояли диван, несколько стульев и над диваном зеркало. Луиза, дама с пушистыми локонами, известная всему Петербургу под этим именем, сидела на диване, обмахиваясь веером и улыбаясь на любезности какого-то офицера, который сидел рядом с нею. Другой, статский, разговаривал стоя с ее наперсницей — с девицей или дамой, столько же дурной, сколько бойкой...

Когда мы вошли, статский взглянул на нас с беспокойством и вопросительно посмотрел на наперсницу.

Луиза протянула мне руку. Я представил ей моего иногороднего друга.

— Очень, очень рада, — произнесла Луиза тем ломаным русским языком, каким обыкновенно говорят немки, несколько растягивая слова, — давно вы приехали в Петербург?.. Здесь весело вам?

При этих звуках мой иногородний друг смешался и даже взглянул на меня с недоумением...

— Заметили вы, какой браслет у Бозио? Мне очень нравится, — продолжала она, обращаясь любезно ко всем нам.

— Вам, кажется, нельзя завидовать чужим браслетам, — сказал военный, — таких браслетов нет ни у кого, как у вас. Например, вот этот...

И он взял руку Луизы с драгоценным браслетом, поднял ее и взглянул на нас.

Мы начали рассматривать браслет и восхищаться им.

— Этот браслет хорош. Он стоит три тысячи... Послушайте, граф, — Луиза обратилась к статскому, разговаривавшему с ее наперсницей, — что вы там делаете? Принесите мне стакан воды.

Тот, которого называла она графом, вышел

из ложи и через минуту принес на подносе стакан воды.

— Погодите, граф, немножко подержите... Мне еще жарко... можно простудиться...

— Ах, нет, не беспокойтесь! это вода не холодная, — перебил граф, — я не принес бы вам холодной воды...

— Все равно погодите... А знаете, граф, что я влюблена в него. — Она указывала на офицера, улыбаясь. — Ах, боже мой, как я о нем страдаю!

Граф все держал поднос со стаканом. Он принужденно улыбался.

— Ну, что ж! я вас поздравляю с этим...

— Право, ей-богу... влюблена. Луиза захохотала.

Потом еще минут пять продолжала она разговор в этом роде, а граф все стоял перед нею с подносом. Между тем наперсница говорила с моим иногородним другом пофранцузски очень ловко и бойко. Наконец мы раскланялись.

Луиза снова протянула мне руку.

— Приезжайте ко мне... Пожалуйста... привозите вашего приятеля.

И она приятно улыбнулась моему иногороднему другу. Граф все стоял с подносом. Мы вышли в коридор.

— Боже мой! Что это такое? Я не верю своим ушам! — воскликнул мой иногородний друг, — я не могу прийти в себя, объясните мне...

— Что такое?

— Ведь я воображал, что ваши петербургские камелии имеют хоть какое-нибудь внешнее образование, хоть говорить умеют... а это... да неужели они все в таком роде?

— Нет... Есть такие, которые умеют держать себя лучше и говорят довольно прилично.

— И я мог подозревать, что это моя маска! И с чего мне этакая глупость пришла в голову?.. Ну, а этот граф-то что такое?..

— Граф имеет тысяч полтораста дохода, он влюблен в Луизу, как безумный, страшно ревнует ее и всегда там, где она... Ну, а Луиза все больше и больше увлекает его. Вы не смотрите на нее, что она такая простенькая на вид: она прехитрая!..

— Но как же может завлечь такая женщи-

на? Что в этом личике? с ней слова сказать не о чем. Даже эта госпожа, которая с ней выезжает, — гений ума и образования перед нею!.. И на таких женщин тратят сотни тысяч!.. Ничего не понимаю!..

В маскараде Дворянского собрания я хотел было подвести моего иногороднего друга к Арманс, чтобы примирить его несколько с петербургскими камелиями. Арманс — француженка, и, несмотря на то, что ее образование немного выше образования Луизы, Арманс умеет бросать пыль в глаза своею болтовнёю и поддерживать разговор. Она очень весела, жива и находчива на ответы; она может принимать на себя какие угодно роли — разыгрывать недоступную даму и вдруг превращаться в самую разгульную и отчаянную лоретку. Она отлично поет: *Un soir a la barriere*... канканирует изумительно и вообще очень забавна; но познакомить с нею моего иногороднего друга я не мог, потому что он уже был занят своею маской.

Я сидел в маленькой угольной комнате и смотрел на известного читателю господина с соболями вместо бровей и с нахальным но-

сом, который держал какую-то маску за руку и кричал ей, поводя своими соболями:

— Поверь мне, бо-маск, что я не пожалею тысячи целковых. Пароль д'онер. Деньги — вещь наживная... Надобно иметь только немножко здесь.

И он тыкал пальцем в свой узенький лоб...

В эту минуту мой иногородний друг очутился передо мной и схватил меня за руку.

— Я тебя ищу везде. Поздравь меня, — сказал он мне, улыбаясь, — я наконец знаю, кто моя маска, и ты ее знаешь...

— Неужели?

Он наклонился к моему уху и шепнул:

— Александра Николаевна... — и к этому прибавил фамилию, о которой я умолчу из скромности.

— Александра Николаевна! — воскликнул я, стараясь выразить как можно более удивления.

— Она, она! Пойдемте к ней; она мне велела привести тебя, она ждет нас.

Когда мы подошли к Александре Николаевне, она взяла меня за руку и сказала:

— Знаете ли, что мы очень сошлись с ва-

шим приятелем?.. Но я только сейчас узнала, что вы знакомы друг с другом. Вы, верно, будете так добры, что возьмете на себя труд привезти его ко мне завтра... Не правда ли? тем более, что вы очень давно у меня не были и я на вас сердита. Если вы хотите заслужить прощение, исполните то, о чем я вас прошу... Итак, а demain, messieurs!..

Она полсала нам руки, кивнула головой и скрылась.

Через десять минут она снова расхаживала по залам, только в другом домино, не узнаваемая моим иногородним другом. Она подошла ко мне.

— Что ж, ты завтра привезешь его ко мне? — спросила она. — А знаешь ли, он милый и преумный...

— В самом деле?.. Да ты уж не начинаешь ли чувствовать к нему некоторого влечения?

— А почему же нет?.. Он еще такой молодой сердцем, у него еще кровь кипит... Не к вам же чувствовать влечение... все вы противные, бездушные эгоисты, вы уже отжили, в вас нет искры жизни!.. Скажи, ты его хорошо знаешь?

— Довольно. Да говори прямо: тебе хочется знать, богат он или нет?.. Он имеет хорошее состояние. Влюбиться в него полезно, я советую тебе.

— Гадкий! — произнесла Александра Николаевна, ударив меня пальчиком по носу.

На другой день в два часа утра мы явились к ней... В комнате царствовал полусвет... Кружевные занавески на окнах были опущены; сквозь них виднелись цветы. Камин пылал довольно ярко. Александра Николаевна сидела в самом темном углу комнаты. Ее утренний туалет, ее поза, высунувшаяся из-под платья ножка, ручка с блестящими кольцами на одном пальце, беспокойно передвигавшаяся, ее взгляды, каждый поворот головы и проч., - все, что приводило моего иногороднего друга в упоение, было в моих глазах одним расчетом.

И как ловко избегала она яркого дневного света!..

Когда мы уселись против нее, она сказала, обращаясь к моему иногороднему другу:

— Прежде всего я должна просить у вас прощения. Вы, верно, не ожидали этого?..

Не удивляйтесь: именно прощенье — c'est le mot, потому что мы были против вас в заговоре. Ваш приятель — мой старый знакомый (она указала на меня) — упросил меня развлечь вас, сказал мне, что вы приезжие, что у вас в Петербурге нет знакомых. Я живо вообразила ваше положение, как вы должны будете скучать одни: ведь наши дамы интригуют только знакомых кавалеров, — а эти господа (она снова указала на меня) так вялы и скучны, что я, признаюсь, с удовольствием взяла на себя роль развлекать нового, живого человека, не похожего на них... я хотела доставить вам несколько приятных минут... не знаю, успела ли я в этом?..

Она бросила на него проницательный взгляд.

— Что касается до меня я никогда не забуду тех приятных часов, которые вы мне доставили: мне никогда не было так хорошо в маскарадах.

Она снова взглянула на моего иногороднего друга и продолжала:

— Если я в маске могла сколько-нибудь быть вам приятной, занять вас хоть на мину-

ту, развлечь вас... я желала бы, чтобы эти впечатления я сумела поддержать в вас теперь, когда без маски. Вы видели перед собой вымышленную женщину, теперь вы видите настоящую. Мне было бы очень приятно, если бы вы с настоящей были так же откровенны и прямы, как с вымышленной...

Она остановилась на минуту и прибавила, протягивая к нему свою руку:

— Знакомство, которое началось шуткой, может продолжаться серьезно. Не правда ли?..

Он поцеловал ее руку...

Шарлотта Федоровна (Вовсе не детский рассказ) Я шел по Невскому проспекту утром на второй день масленицы. Молодой, только что выпущенный гусар, еще без усов, сын одной моей старинной знакомой, за которым ехали сани парой с крутозавившейся на отлете пристяжной, на которую он беспрестанно оглядывался, остановил меня восклицанием:

— *Charme de vois voir!*

— Здравствуйте, — отвечал я.

— А что, вы будете, — продолжал гусар, вставляя в глаз стеклышко и смотря на меня,

хотя он мог видеть меня легко простым глазом, потому что мы стояли лицом к лицу, — будете завтра на пикнике, который устраивает Шарлота Федоровна?

— Что такое? — спросил я.

Он повторил свои слова.

— Шарлота Федоровна! А-а! Так Шарлота Федоровна дает пикник?

— Да завтра, батюшка, весь город там, все наши!

— Весь ваш полк?

— Нет, *quelle idee!* я понимаю все наши, то есть все порядочные люди... Сережа Вельский, Саша Гребецкой...

— Вот что! Ну прощайте, желаю вам веселиться, — сказал я.

Пройдя несколько шагов, я был опять оставлен, но на этот раз моим старым приятелем.

— Очень рад, что я тебя встретил, — сказал я ему, — мне ты нужен. Я хотел зайти к тебе завтра вечером, чтобы переговорить об одном деле.

— Завтра?.. пожалуй... — отвечал он нерешительно и как будто припоминая что-то. —

Ах нет, завтра не могу. Я совсем забыл, завтра я на пикнике у Шарлоты Федоровны...

Опять Шарлота Федоровна!

— Да что это за пикник? — спросил я.

— Я ничего не знаю, мне навязали билет, и я заплатил за него двадцать пять рублей. Заплатив такие деньги, нельзя же бросить билет в печку: к тому же мне любопытно посмотреть, что это такое; говорят, там будут все известные хорошенькие петербургские женщины. Поедем-ка. Это, право, любопытно.

— Не знаю, может быть, — отвечал я, прошившись с моим приятелем.

В этот день я обедал у Донона.

Против меня сидели два молодых человека, неизвестных мне. Они разговаривали очень громко, смешивая русскую речь с французскими фразами, пересыпали разговор блестящими аристократическими именами, одеты были франтовски, называли всех лакеев по именам, обращались к самому Донону с дружескою фамильярностью, несмотря на то, что Донон оказывал им совершенное хладнокровие, и посматривали на меня и на других обедавших в этой комнате с таким выраже-

нием, как будто хотели сказать: "Что вы за люди? откуда вы?" Нетрудно было догадаться, что эти джентльмены средней руки принадлежали к тому многочисленному классу петербургских праздношатающих, для которого беспечное стремление к *comme il faut* есть цель всей жизни, а величайшее счастье и благо — достижение чести пройтись по Невскому проспекту или посидеть в театре в первом ряду кресел с каким-нибудь князем, графом и вообще великосветским господином. Джентльмены эти кушали блины с икрой и запивали их холодным шампанским.

— А я с нетерпением жду завтрашнего дня, — сказал один из них так, чтобы все мы слышали. — Я уверен, что будет чудо как весело. Уж если за это взялась Шарлота Федоровна, я уверен, что все будет устроено отлично. Ah! Elle a du chic, cette femme, cher ami! Прелесть что за женщина! Я вчера был у нее целое утро с Сережей Вельским...

— Арманс приготовила для этого пикника удивительный туалет, — возразил другой.

— Но все-таки, — перебил первый, — Шарлота Федоровна будет *la reine du bal*... Il n'y a

pas de doute...

Пикник и Шарлота Федоровна преследовали меня целый день.

Пикник этот, как я слышал на другой день, действительно удался. Все самые ценные петербургские камелии участвовали в нем... Туалеты их были блистательны, кринолиновые юбки поражали своими размерами: дамы эти, несмотря на их изящный вкус, любят немного преувеличивать моду. Вся великосветская молодежь, военная и штатская, присутствовала на этом пикнике со своими двойниками и подражателями.

Для пикника этого нанята была одна из больших меблированных дач Лесного института, ужин готовил Дюссо, конфеты и мороженое были от Сальватора, оркестр конногвардейский. Танцевали до шести часов утра. Царица бала была действительно, по общему сознанию, Шарлота Федоровна. Ее туалет убил все туалеты, и, в самом деле, он отличался неслыханным вкусом и удивительно шел ей к лицу. Все дамы, даже те, которые считались самыми близкими ее приятельницами, кипели, как следовало ожидать, против нее в

этот вечер непримиримую враждою и мучительною завистью. Арманс отпускала на ее счет разные колкости. Успех Шарлоты Федоровны злобно одушевлял ее. Она пустила в ход всю свою французскую любезность и живость и в контрадансах так ловко и беззастенчиво канканировала, что многих привела в восторг и возбудила самые энергические рукоплескания. Но такая безграничная веселость Арманс привела в негодование Шарлоту Федоровну. Шарлота Федоровна была оскорблена неприличным поведением этой француженки, потому что Шарлота Федоровна корчила, говорят, великосветскую даму и танцевала с необыкновенным чувством достоинства.

Что такое Шарлота Федоровнам, читателю, даже иногороднему, объяснить, я полагаю, не нужно. К тому же я представлял несколько очерков такого рода дам, и если я снова обращаюсь к этим дамам, то это не оттого, чтоб я питал к ним особенную нежность; не потому, чтоб я слишком увлекался ими и находил особенное удовольствие говорить о них... Но нельзя не обратить внимания на то, что в по-

следнее время эти размножающиеся с каждым днем дамы начинают играть роль довольно заметную, выходят иногда из своей сферы и приобретают вне ее силу и значение. С этими прелестными Луизами, Бертами, Армансами и Шарлотами Федоровнами, которые бросаются в глаза всем роскошью, выходящею из всех границ, соединяются, быть может, вопросы весьма серьезные. Эти госпожи — явление не случайное, и рассказы об них могут быть не одною пустою и праздною болтовнею, потому что из этих рассказов читатель, наблюдающий и размышляющий, может извлечь некоторые данные, не лишённые любопытства, о жизни и о степени нравственного состояния некоторого класса общества.

Шарлота Федоровна в сию минуту львица между всеми этими дамами. На нее обращено великосветское внимание, об ней толкуют во всех кружках петербургского общества, ее знают все... по крайней мере по имени. Она самая модная из всех камелий; об ее роскоши рассказывают баснословные анекдоты даже на Петербургской стороне, и я теперь передам

моим провинциальным читателям (для петербургских все это уже неинтересно) некоторые самые любопытные черты из ее жизни.

Шарлота Федоровна появилась в Петербурге лет восемь тому назад. Она вывезена была из какого-то немецкого городка и первое время после своего приезда называлась Иоганной. Под этим именем она была известна всему богатому и веселящемуся Петербургу. Иоганне было тогда девятнадцать лет. Она не могла не обратить на себя особенного внимания знатоков. Они приходили прежде всего в восторг от ее ручки и ножки. Иоганна в этом случае была исключением из немок, потому что немки вообще не отличаются красотой ног и рук. Потом знатоки приходили в восторг — и совершенно справедливый — от ее гибкой и тонкой талии, от изящной формы ее плеч, сквозь прозрачную белизну которых виделись тоненькие голубоватые жилки, от ее удивительно тонкого профиля, от особенно симпатического выражения ее лица, оживленного синими продолговатыми глазками, в которых иногда сверкали какие-то искры, и от густой, падавшей до колен косы пепельно-

го цвета.

Те, которым этот портрет покажется преувеличенным, могут посмотреть в сию минуту на Шарлоту Федоровну в опере, на гуляньях или, наконец, быть ей представленными, чтобы убедиться, что я не прибавил к нему ни одной черты, потому что с тех пор она мало изменилась. Несмотря на это, прежнюю Иоганну нельзя почти узнать в настоящей Шарлоте Федоровне. Иоганна одевалась или, вернее сказать, ее одевали без всякого вкуса, волосы причесывали какими-то безобразными колечками и завитками. Иоганна совсем не умела держать себя и, ломаясь, повторяла своим неотвязчивым поклонникам: "Lassen Sic mich". Превращаясь постепенно из Иоганны в Шарлоту Федоровну, она обнаружила удивительную наблюдательность и необыкновенную способность воспринимать весь наружный блеск, все внешние условные формы со всеми их тонкими и неуловимыми для простого глаза оттенками. Через три года после своего приезда в Петербург, когда она под покровительством какого-то господина, влюбившегося в нее, обзавелась своим ма-

леньким хозяйством и квартиркой, — ее нельзя было узнать. Она сделалась развязною, начала болтать довольно порядочно по-русски, перестала говорить *Lassen Sic mich*, обнаружила вкус в выборе своих туалетов и вела себя с таким тактом и с такою скромностью, что на улице или в театрах ее можно было бы принять за порядочную женщину, если бы не сопровождавшая ее толстая наперсница очень странного вида, в желтых, довольно грязных перчатках и в поношенной французской шали, которая бросала на нее невыгодную и подозрительную тень. По мере того как средства Шарлоты расширялись, жажда блеска и роскоши росла в ней, раздражаемая примерами Берты, Луизы и других, которые еще обращались с нею тоном покровительства и допускали ее только иногда, в те часы, когда у них никого не было, в свой блестящий круг.

Экипажи Фребелиуса, туровские и гамбсовские мебели, лакеи со штиблетами не давали ей покоя. Но она смотрелась в зеркало, задумывалась на минуту, синие глазки ее загорались искрами, и, лукаво улыбаясь, она почти

вслух говорила самой себе: "У меня непременно будет все это!" И действительно, не прошло года, как в один прекрасный солнечный день на Дворцовой набережной, в час гулянья, промчалась темная коляска безукоризненного вкуса, запряженная парюю темно-серых рысаков, с толстым кучером на козлах, с огромной черной бородой, и с тоненьким лакеем в гороховом сюртуке и штиблетах, с небольшою кокардою на круглой шляпе и со сложенными накрест руками, — коляска, в которой сидела, прислонившись к одному углу с очаровательной небрежностью, прелестнейшая женщина с пепельными волосами, в восхитительном туалете.

Все глаза, стеклышки и лорнеты обратились на эту коляску...

— Кто это? Что это такое? *Quelle jolie femme! Charmante!* Просто чудо! — посыпались вопросы и восклицания со всех сторон.

— А я знаю, кто это, — сказал с некоторым торжеством один из гулявших.

— Ну, да говорите же кто! — воскликнуло несколько голосов с нетерпением.

— Шарлота.

— Какая Шарлота?

— Ну, просто Шарлота. Она, говорят, живет с каким-то купцом.

Имя Шарлоты начало переходить от одного к другому, и известность ее в эту минуту была уже упрочена. Никому и в голову не приходило, что эта прелестная женщина была некогда известна многим из них под именем Иоганны.

Целую неделю после этого великосветская петербургская молодежь только и толковала о Шарлоте. Вслед за тем Шарлота начала являться в абонированной ложе в опере и во всех бенефисах в балете, производя неописанный эффект. Вся блестящая молодежь уже увивалась около нее.

Совершенное невежество и неумение говорить выкупалось в ней природной хитростью и ловко усвоенными ею грациозными движениями и живописными позами, которые она принимала в известные минуты с величайшим искусством и необыкновенно привлекательною улыбкою, во время которой лицо ее имело такое выражение, которое так невольно и влекло к ней... Безграмотность и невеже-

ство (Шарлота с трудом подписывала свое имя) нимало, впрочем, не вредили ей; все эти блестящие господа, окружавшие ее, не были прихотливы на этот счет, потому что сами они от Шарлоты отличались только тем, что свободно болтали по-французски и читали романы Фудра и Дюма, о которых Шарлота, разумеется, никогда не слыхала.

Хотя Шарлота одинаково, по-видимому, кокетничала со всеми, но наблюдательный глаз мог заметить, что она начинает обращать особенное внимание на одного из них... я назыву его хоть князем Езерским, потому что надобно же хоть как-нибудь назвать его. Он и она как-то уж слишком часто поглядывали друг на друга, и между им и ею начались уже телеграфические знаки. Шарлота чувствовала к нему влечение прежде всего потому, что он носил громкое имя и очень основательно считался тончайшим цветом великосветскости и образчиком военного *comme il faut*.

Действительно, никто не привешивал с таким искусством аксельбанта, никто так ловко не пристегивал эполет, ни у кого не было сюртука такого покроя, никто так ловко не носил

своей сабли, ни у кого из-под широких рукавов сюртука не выглядывало белье такой удивительной белизны и тонкости, ни у кого не было таких изящных запонок и английского пробора, расчесанного с таким искусством; никто не был так смел с женщинами и никто не танцевал ловче и лучше его. Он породил тьму подражателей; к тому же весь город кричал об его неслыханных успехах между женщинами и особенно о его победе над одной великосветской барыней, которая почему-то преимущественно обращала на себя внимание Петербурга. Шарлота очень хорошо понимала, что близость ее отношений к этому человеку придаст ей еще более блеску и что Берта, Луиза, Арманс с ума сойдут от зависти, узнав об этом, потому что и Берта, и Луиза, и Арманс наперерыв друг перед другом употребляли всевозможные ухищрения кокетства, чтобы завлечь князя в свои сети. Замечательно то, что все эти дамы не имели относительно его никаких корыстных целей, потому что состояние его (это знали все) было очень расстроено и ограничено. Каждая из них, соблазненная единственно блеском его

имени, его светскими успехами и тою ролью, которую он играл между великосветскою молодежью как утонченнейший представитель *comme il faut*, руководилась одною только соблазнительною мыслию иметь его своим другом, своим Артюром, как говорят французы, своим *amant de soeur*, потому что эти дамы не могут обходиться без Артюров. Отдаться бескорыстно человеку незначительному и темному нет никакой выгоды. Необходимо, чтобы Артюр удовлетворял по крайней мере хоть тщеславию, чтобы частицу своего блеска он уделил своей возлюбленной, чтобы он был или модный художник, или необыкновенный артист, или безукоризненный *comme il faut*; чтоб он был непременно героем в каком бы то роде ни было, чтобы об нем везде и все кричали, чтобы ему удивлялись, завидовали, подражали и рукоплескали...

Князь был один из самых привлекательных Артюров, потому что он в этом случае удовлетворял всем условиям. Великосветскость для этих дам все-таки выше всех талантов, и они всегда предпочтут сценическому герою — героя салонного. Но независимо

от всего, князь был так хорош собой, черты лица его были так тонки, темные волосы так мягки и густы, усы, оканчивающиеся одним волоском, так красивы, небольшие карие глаза так хитры и привлекательны, что если бы он даже не был тем, чем был, — он и тогда, я в этом уверен, мог бы подействовать на впечатлительную Шарлоту. Шарлота, как все немки, была при этом немножко сентиментальна и в патетические минуты говорила несколько нараспев.

В то самое время, как князь начал ухаживать за Шарлотой, к ней начал ездить очень богатый и уважаемый всеми господин. Он знал князя с той минуты, как тот вышел из пеленок, и был всегда особенно расположен к нему, но ему было неловко встретиться с ним у Шарлоты; к тому же к этой неловкости приешивалась ревность.

Шарлота все это тотчас смекнула. Она устроила так, чтобы всеми уважаемый господин никогда не мог встретиться у нее с князем, нарочно отзывалась о князе, когда о нем заходила речь, с совершенным равнодушием и была до такой степени мила и внимательна

с уважаемым всеми господином, так пристально смотрела на его лысину в свой бинокль в театре, с такою непритворною радостью встречала его, так соблазнительно ласкалась к нему, что уважаемый всеми господин, не отличавшийся никогда большою твердостью, совсем ослабел...

Через полгода после знакомства с ним Шарлота переехала на новую квартиру, о баснословной роскоши которой закричал весь город. Еще до ее переезда многие приезжали посмотреть на отделку этой квартиры. В особенности всех приводил в восторг ее будуар во вкусе Помпадур и столовая из резаного дуба, в которой, начиная от огромного буфета, на котором была вырезана звериная травля горельефом, до самой маленькой вещицы, все было самой утонченной артистической работы. Ее туалеты сделались еще роскошнее, экипажи еще блестящее (они выписывались из Лондона)... Шарлота затемнила окончательно всех своих соперниц, явилась во главе их и с тех пор называется не иначе, как Шарлота Федоровна.

Новоселье свое Шарлота Федоровна празд-

новала великолепным балом. Это был счастливый день в ее жизни. Она явилась перед всеми своими завистницами и соперницами в неслыханном блеске, и те, которые года три назад тому едва допускали ее к себе, — теперь невольно преклонились перед нею, в величии ее обстановки. Даже Арманс — ядовитая Арманс — ее непримиримый враг, смирилась перед этою роскошью и, с жадным и беспокойным любопытством рассматривая различные драгоценные украшения и вещи на каминах и зеркалах Шарлоты Федоровны, вдруг вскрикнула, обращаясь к окружавшим ее дамам, которые были крайне удивлены этим восклицанием: *Ah!.. mais savez vous, mesdames, que c'est une femme de beaucoup d'esprit... beaucoup!* На бале Шарлоты Федоровны, кроме этих дам, были многие известные актрисы — немки и француженки. Общество мужчин было самое избранное, в смысле великосветском. Шарлота Федоровна вела себя с величайшим тактом и была со всеми одинаково любезна и предупредительна, даже с своими заклятыми врагами и завистницами. Она была в этот вечер счастлива и нарочно

показывала всем свое особенное расположение к князю Езерскому. Ей как будто хотелось сказать: "Смотрите, я его люблю и он меня любит. Чего же наконец недостает мне?" О бале Шарлоты Федоровны и о ее великолепном ужине говорили в городе несколько дней. Великосветские дамы начинали интересоваться Шарлотой Федоровной: они спрашивали об ее бале и, встречая ее на улице, не только измеряли ее с ног до головы, даже оглядывались. Женское любопытство пересиливало чувство аристократического достоинства...

Уважаемый господин — виновник всего этого блеска, который окружал Шарлоту Федоровну, никогда не показывался на ее великолепных вечерах, но изредка, говорят, устраивал у нее особые вечера, на которые приглашал только своих коротких приятелей и сверстников. Шарлота Федоровна имела над ним власть неограниченную, которая усиливалась с каждым днем. Несмотря на это, домашние сцены и бури бывали довольно часто. Причиною их по большей части была ревность.

Уважаемый господин ревновал Шарлоту

Федоровну ко всем, но менее всех к князю Езерскому, — так хитро и ловко она вела себя. Сцены эти обыкновенно оканчивались полным торжеством Шарлоты Федоровны. Все подозрения разбивались в прах. Ее невинность выступала во всем блеске, и уважаемый господин испрашивал у нее прощения со слезами и на коленях.

Между тем Шарлота Федоровна, сблизившись с князем Езерским из тщеславия, начала привязываться к нему не на шутку. Не было дня, в который бы они не виделись хотя на минутку... Встречи эти назначались в Английском магазине, у Елисеева, во время устриц, и в других местах; а продолжительные свидания — в квартире одной из самых верных приятельниц Шарлоты Федоровны. Князь совсем не ездил к ней и только появлялся — и то не всегда — на ее званых вечерах. Эти свидания у приятельницы скоро оказались неудобными, и князь нанял для этой цели небольшую квартиру в одной из уединенных улиц, недалеко, впрочем, от центра города, меблировал ее просто, но со вкусом, поселил там преданного ему человека и завел

маленькое хозяйство...

Когда Шарлота Федоровна в первый раз приехала на эту квартиру в условленный час, тайком, одна и в наемной карете, камин уже горел в маленькой гостиной и на столе зажжен был карсель под длинным бумажным колпаком. Князь в нетерпеливом ожидании сидел у камина с развернутою книгою на коленях... Здесь я кстати замечу мимоходом, что князь, считавшийся в свете очень образованным человеком, никогда никакой книжки, даже Поль-де-Кокова романа, не мог дочитать до конца... Он брал обыкновенно книгу, прочитывал две или три страницы — и задумывался. Один из его приятелей, с которым он жил вместе, сказал ему однажды, когда он лежал в таком созерцательном положении с открытою книгою, опрокинутою переплетом вверх:

— Сознайся, что не можешь прочесть двух страниц сряду. Скажи, пожалуйста, неужели тебе веселее так лежать, ничего не делая?

— А ты полагаешь, — отвечал ему князь, улыбаясь, — что я ничего не делаю? ты ошибаешься, — я думаю, и это для меня гораздо

важнее и полезнее всяких книг.

Приятель засмеялся...

— О чем же ты думаешь? — спросил он.

— Я мысленно, — отвечал князь очень серьезно, — ставлю себя в различные положения относительно разных лиц в обществе и делаю планы, как я должен и как буду вести себя в таком или в другом положении. Эта игра очень забавная, и она занимает меня гораздо более ваших романов, — прибавил князь, улыбаясь...

В ожидании Шарлоты Федоровны князь, сидевший у камина с развернутою книгою, занят был, вероятно, этой остроумною игрою. Шарлота Федоровна вбежала в комнату в салопе и с муфтой... При виде пылающего камина она кинула муфту и захлопала в ладоши. Князь вскочил и бросился к ней, уронив книгу с колен. Он и не заметил, как вошла она, потому что Шарлота Федоровна не звонила и, не зная входа, прошла через заднюю лестницу... Князь расстегнул ей салоп, снял с нее шляпку... Шарлота Федоровна бросилась осматривать квартиру... Она была в восторге от всего, хотя приходить в восторг было не от

чего; она резвилась, радовалась, прыгала, как дитя, — и беспрестанно обнимала своего Сашу — так называла она князя... Она сама разливала чай, болтала без умолку ужаснейший вздор, передавала ему все сплетни, которые плели Арманс, Берта, Луиза и другие, опутывая друг друга. И князь слушал все это с величайшим любопытством и принимал во всем этом живое участие. Шарлота Федоровна начинала немножко говорить по-французски и вмешивала в разговор французские фразы... Князь смеялся над ее ошибками. Время летело незаметно. Было уже половина двенадцатого.

— Мне не хочется домой, — сказала Шарлота Федоровна, лениво потянувшись и заложив руки к косе, которая чуть-чуть держалась, слегка поддерживаемая небрежно воткнутой гребенкой. — Я бы здесь хотела остаться.

— Что ж? оставайся, — возразил князь.

Шарлота Федоровна вздохнула.

— Разве мне можно? — произнесла она печально, — он такой несносный, мой, такой ревнивый — беда. Он с ума сойдет, а я, Саша,

хотела бы остаться с тобой долго, долго, до утра.

И Шарлота Федоровна, говоря это, с нежностью разглаживала густые и глянцевитые волосы князя.

— Ты не умеешь держать его в руках, — заметил князь.

— Неправда, ты меня не знаешь, у меня есть характер, у-у, какой характер! он рассердится и сейчас просит у меня прощенья, да еще на коленях; но нельзя же мне делать все, что я хочу. Я все-таки от него завишу. Ах, Саша, как мне скучно с ним! После театра он у меня сидит долго, все говорит, как меня любит; я задремлю, а он, я чувствую это и сквозь сон, все глаза с меня не спускает, все смотрит мне в лицо, а я думаю — вот если б вместо него ты был тут...

— Ну, а если бы тебе вместо двадцати тысяч, — перебил князь, — дали, например, полную свободу и тысячи четыре в год, так, чтобы ты не нуждалась, ты бы бросила его?

Шарлота Федоровна задумалась.

— Скажи только правду. Шарлота Федоровна молчала.

Князь, улыбаясь, смотрел на нее в ожидании ответа.

— Может быть... — начала она и остановилась. — Нет, Саша, нет!.. я скажу всю правду. Я не могу, я привыкла много издерживать. Не сердись на меня, Саша... уж я такая, что ж мне делать? Я зато правду говорю тебе.

Князь засмеялся. Шарлота Федоровна также начала смеяться и потом поцеловала князя. Она беспрестанно переменяла свои позы на низеньком диване, стоявшем перед камином; то ложилась на плечо к князю, то обвивала его рукой, усаживалась на диване совсем с ножками, то протягивала эти ножки, обутые в бледно-розовый чулок и туфли с каблучками, к камину. Часы пробили двенадцать.

— Ах, мне пора! — воскликнула Шарлота Федоровна, быстро вскакивая с дивана.

Она сделала два шага и вдруг остановилась.

— Знаешь что? Мне захотелось ужинать, Саша, — сказала она. — Я еще хочу остаться с тобой. Ты хочешь со мной ужинать?.. Ты хочешь, чтобы я осталась немного? (Нельзя не

заметить, что у этих дам всегда прекрасный аппетит.) — Прекрасно, — отвечал князь, — только весь наш ужин будет состоять из холодной пулярки и сыра.

— Это чудо! Лучше ничего не надо! — закричала Шарлота Федоровна.

Ужин был принесен. Шарлота Федоровна скушала почти половину пулярки и выпила три стакана шампанского. Щеки ее разгорелись, развившиеся волосы падали на лицо. Она была очень хороша в эту минуту, и князь, глядя на нее, был очень доволен собой.

Он любил ее в эту минуту, хотя, как истинный *comme il faut*, считал неприличным слишком обнаруживать свои чувства. Он держал себя с нею постоянно одинаково прилично и несколько равнодушно.

Часу в третьем князь сам довез ее до дома и выпустил, не доезжая до ее подъезда дома за два.

Такие свидания бывали раза два в неделю. Шарлота Федоровна была действительно привязана к князю, и эта привязанность выражалась очень наивно. Один раз из кармана ее платья посыпались какие-то бумажки. На во-

прос князя: "Что это?" — она отвечала, что это билеты в лотерею; что одна ее знакомая (промотавшаяся камелия) разыгрывает свою турецкую шаль.

— Я взяла много билетов и много раздала, — прибавила Шарлота Федоровна, — мне очень жаль ее!

— А почему билет? — спросил князь.

— По двадцати пяти рублей.

— Дай мне четыре билета.

— Ни за что! — вскрикнула Шарлота Федоровна, — я знаю, кому отдать. У меня много таких... А я не хочу, чтобы ты попусту тратил деньги... у тебя денег мало.

Зачем брать! не нужно.

Князь иронически улыбнулся.

— Что ж, ты воображаешь, — сказал он, — что я не в состоянии бросить ста рублей, если захочу?

Князь насильно взял у нее билеты и бросил деньги на стол.

Но Шарлота Федоровна-таки поставила на своем: она не взяла этих денег и отняла у него билеты, несмотря на его гнев.

Она не хотела подвергать его ни малей-

шим издержкам и даже упрекала его за то, что он много издержал на квартиру и слишком хорошо меблировал ее.

— Нам было бы довольно одной комнаты и одного дивана, Саша! — говорила она.

Князь подарил ей браслет с часами, и она не рассталась с ним, она постоянно носила его и берегла все его письма, как драгоценность. На эти письма Шарлота Федоровна отвечала раздушенными записочками на отличном французском языке, которые обыкновенно писала ей одна из ее приятельниц, та самая, в квартире которой князь имел свидания.

— Ты мне скажешь правду? — спросил он у Шарлоты после получения одной из ее записок, поразившей его уж слишком сильной изящностью слога.

— Ну, конечно, а разве я лгу когда-нибудь? — возразила она, нахмурив брови.

— Ну, так скажи мне, кто тебе писал эту записку?

— Я писала сама, — отвечала Шарлота Федоровна оскорбленным тоном.

— Нет, не ты, — отвечал князь спокойно. —

Ты двух слов не напишешь правильно ни по-каковски.

Шарлота Федоровна клялась, что это писала она; наконец рассердилась, надулась и заплакала, но чрез минуту призналась во всем и, с беспокойством глядя в глаза князю, спрашивала его:

— Саша, ведь ты не будешь меня меньше любить оттого, что я безграмотна?

Она, точно, была привязана к князю и привязана бескорыстно, в этом нельзя было сомневаться, но в то же время она кокетничала и водила за нос одного молодого, очень богатого русского купчика, который из тщеславия готов был разориться на нее в пух, и другого известного почтенного старичка из немцев, нажившего миллионы посредством золотых промыслов. Почтенный старичок был влюблен в нее до безумия.

Он таял при одном взгляде на нее и чуть не заплакал, когда она в первый раз позволила поцеловать ему руку. Шарлота Федоровна нежно смотрела на почтенного старичка, называла его «папашей» и, пользуясь его слабостью, обирала его самым беспощадным обра-

зом, показывая ему в отдалении только слабый луч надежды. Она была даже у него два раза, и почтенный старичок чуть не помещался от этого счастья. Он показал ей все свои драгоценности: старое серебро, китайский и саксонский фарфор, мраморы и бронзы, и, кроме серебра и мраморов, все эти вещи вскоре перешли к Шарлоте Федоровне... А почтенный старичок все жил только слабым лучом надежды. Говорили, что молодой купчик был счастливее его, но что счастье его было кратковременно и обошлось ему недешево: он заплатил по векселям Шарлоты Федоровны около двадцати тысяч рублей серебром, и после этой уплаты дверь Шарлоты Федоровны заперлась для него навсегда. Темные слухи обо всем этом давно ходили между великосветскою молодежью, которую очень занимали скандальные похождения всех этих дам за неимением других интересов, — и, вероятно, дошли до князя Езерского. Князь спросил ее о купчике и о старике-золотопромышленнике.

Шарлота Федоровна вспыхнула, начала клясться и божиться, что о купчике не имеет

никакого понятия, что она слишком дорожит собой и таких... (она произнесла при этом: фи! и сделала гримасу) не пускает на порог своего дома, что с старичкомзолотопромышленником она действительно встречается у своих приятельниц и что он строит ей куры, но что никаких вещей он никогда не думал дарить и что она ни за что не приняла бы от него в подарок даже букета цветов, что он ей гадок, противен, и прочее. Затем Шарлота Федоровна начала жаловаться, что Саша слушает про нее всякие гадкие сплетни и верит им, что он ее не любит, и прочее. Все, впрочем, окончилось благополучно, слезами и поцелуями.

Летом Шарлота Федоровна переехала на дачу на острова, а уважаемый всеми господин, вследствие расстроенного здоровья, по настоянию докторов, должен был уехать за границу. Прощание его с Шарлотой Федоровной было, говорят, истинно трогательно, так что все присутствующие прослезились. Он целовал ее руки и ноги, кряхтя и охая становился перед нею на колени, рыдал на ее груди, взял с нее торжественную клятву оста-

ваться ему верной до возвращения, поручил своему управляющему выдавать ей все так, как выдавалось при нем, и, кроме того, положил на ее имя в ломбард довольно порядочную сумму с тем, чтобы она только пользовалась процентами. Шарлота Федоровна последним распоряжением не была, впрочем, довольна. Она, несмотря на все, сумела каким-то образом задолжать огромные деньги своей модистке и в различные магазины.

На другой же день после отъезда уважаемого господина Шарлота Федоровна переехала на дачу, которая вся была уставлена цветами, — и в тот же вечер явился к ней князь Езерский, который просидел у нее до утра. Никогда она не чувствовала себя более счастливой: она была почти свободна. Почтенный старичок из немцев нанял также дачу на островах. Шарлота Федоровна принимала его к себе, не скрывая этого от князя, и заставляла делать почтенного старичка страшные дурачества, что, между прочим, очень забавляло и развлекало князя. Старичок в угодность ей носил соломенную пастушескую шляпу; она постоянно украшала его бутоньерку цветком,

устраивала у себя маленькие танцевальные вечера и заставляла его танцевать, делать со-ло во французском кадриле и прочее.

Несмотря на все эти и еще более суще-ственные пожертвования, дела старичка не подвигались. Прошло лето, наступила осень, и Шарлота Федоровна переехала на свою го-родскую квартиру. Стала зима. Старичок, му-чимый ревностью, терял всякое терпение и решил обратиться к приятельнице Шарло-ты Федоровны, к Лине Карловне, той самой, которая писала для Шарлоты Федоровны изящные записки на французском языке.

Лина Карловна не отличалась красотой, но имела ум вкрадчивый и проницательный; она получила довольно хорошее воспитание в каком-то пансионе за границу и развила себя чтением. Лина Карловна не увлекалась тщеславным внешним блеском, она была невзыскательна, экономна, кротка и тиха. По-кровителем ее был, говорят, простой русский купец, с бородкой, но очень богатый, который привязался к ней сильно, плененный ее доб-родетелью, скромностью, аккуратностью и чистоплотностью.

Ли́на Карловна жила тихо, откладывала деньги в ломбард и брала их оттуда для того, чтобы отдавать за огромные проценты своим приятельницам, разумеется, скрывая от них, что это ее деньги. Ли́на Карловна каждое воскресенье с своей книжечкой ходила в церковь, любила рассуждать о предметах нравственности и вообще более походила на сестру милосердия, чем на лоретку. Злые языки говорили, впрочем, что у Ли́ны Карловны есть также свой Артю́р — первая скрипка в опере.

Она встретила почтенного старичка, занимавшегося золотыми промыслами, без удивления и с большим участием и вниманием выслушала исповедь его долготерпеливой любви. В продолжение его речи, не совсем складной и с запинками, Ли́на Карловна по временам испускала глубокие вздохи, а в местах слишком щекотливых застенчиво потупляла глаза. Когда он кончил, прося ее совета, она отвечала:

— Все, что я могу вам сказать, — это то, что Шарлота Федоровна очень вас уважает и любит. Она немножко легкомысленна, но, я могу

вас уверить, очень умеет ценить людей солидных, — вы это увидите; будьте покойны.

Лиана Карловна говорила тихо, скромно, однозвучно и убедительно, вставляя иногда в разговор очень кстати нравственные сентенции, и привела в совершенное восхищение почтенного старичка, который высоко ценил скромность и добродетель.

С этого дня он очень часто прибегал за советами к Лине Карловне. Лиана Карловна действовала в его пользу; к тому же поле действия с некоторого времени было очищено. Князь выехал на несколько времени из Петербурга по делам службы...

После долгих совещаний и переговоров решено было, что почтенный старичок для достижения своих целей должен был заплатить самые беспокойные и важные долги Шарлоты Федоровны.

Он согласился на все, просиял, сделал какой-то драгоценный подарок Лине Карловне и составил в голове своей восхитительную пасторальную фантазию совершенно в немецком вкусе, которая должна была разыграться в счастливый для него день.

Условились так, чтобы накануне Нового года ужинать втроем у Донона. Старичок заказал великолепный ужин. После ужина он должен был отвезть Шарлоту Федоровну домой; но так как он приготовлял для нее различные сюрпризы, то Лина Карловна пригласила Шарлоту Федоровну на целый день к себе. Старичок послал к ней на квартиру целый лес деревьев и камелий в цвету и роскошно разубранную корзинку, вроде *corbeille de pose*, которая была доверху наложена различными дорогими галантерейными вещами: брошками, браслетами, кольцами и на дно которой были положены два ломбардных билета, по 5000 рублей каждый.

Шарлота Федоровна с утра явилась к Лине Карловне. Шарлота Федоровна была в некотором волнении. Она показала своей приятельнице два письма, которые только что получила: одно от всеми уважаемого господина, который писал ей, что здоровье его значительно поправилось, что он совершенно посвежел и помолодел, надеется возвратиться скоро в Петербург, ждет с ней минуты свидания, как величайшего блаженства, и надеется вполне,

что она сдержала клятву, данную ему при расставанье; другое письмо — от князя. Это не было так длинно и нежно, как первое: князь просто уведомлял, что он кончил свое дело неожиданно скоро и надеется возвратиться в Петербург гораздо ранее того, чем предполагал...

— Знаешь ли, Лина, у меня есть предчувствие, — сказала Шарлота Федоровна, — что Саша приедет сегодня, и я знаю, что он прямо приедет ко мне, в котором бы это часу ни было... Нельзя ли как-нибудь отделаться от этого противного и сладкого старичишки?

— Это нехорошо, — отвечала Лина Карловна, — вспомни, Шарлота, какой он благороднейший человек... Надо быть внимательнее к такого рода людям; ты уж зашла с ним слишком далеко. Сколько денег и вещей ты перебрала у него!

— Ах, я несчастная! — вскричала Шарлота Федоровна. — Я безумная, я не знаю, зачем я это все сделала. Я возвращу ему его вещи, его деньги...

— Ты говоришь неправду, это пустяки, — перебила Лина Карловна, — ты этого не сде-

лаешь и не можешь сделать; ссориться с ним и оскорблять его тебе не следует.

— Подумай, что он может пригодиться тебе. На твоего покровителя рассчитывать долго нельзя. Он еле дышит, хоть и рассказывает, что помолодел; князь же твой... ну, это что такое? каприз, больше ничего — он более, я думаю, стоит тебе, нежели ты ему... Если же ты дала слово, так и должна сдержать его... Он свое сдержал...

Шарлота Федоровна надулась. Лина Карловна подошла к ней с истинно материнскою нежностью и поцеловала ее...

— Знаешь ли, Шарлота, — продолжала она с таинственной вкрадчивостью, — он приготовил тебе такие сюрпризы... ты уж никак не ожидаешь — и все это будет послано к тебе сегодня. Видишь ли, какой человек!.. И ты, дурочка, не ценишь своего счастья... — прибавила она с нежностью, — а знаешь ли, что я не встречала женщины такой счастливой, как ты...

При слове «сюрпризы» глаза Шарлоты Федоровны засверкали.

— Что такое, душенька Линочка, какие

сюрпризы? скажи мне! — вскрикнула она, оживляясь.

— Ты увидишь...

— Но скажи, в каком роде? Что такое?.. Какой-нибудь браслет!.. но они уж мне надоели... У меня их столько! — произнесла с гримасою и как бы думая вслух Шарлота Федоровна и потом обратилась к Лине Карловне. — Послушай, Лина, — сказала она, — я слово свое сдержу, я тебе клянусь, но только не сегодня, пожалуйста, не сегодня... Милая Линочка, спаси меня, помоги мне...

— Что же я могу тебе сделать?

— Ты только не оставляй меня одну с ним... я прошу тебя об этом...

Лина Карловна несколько минут колебалась, но потом согласилась, расцеловала Шарлоту и сказала:

— Ну, смотри, Шарлота, только сдержи свое слово.

Почтенный старичок явился на ужин раздушенный и завитой. Продолговатое и рябоватое лицо его лоснилось от счастья. На нем был фрак, тончайшая рубашка, застегнутая солитером, и желтые перчатки. Он точно на-

рядился на свадьбу, недоставало только белого галстука. Ужин был сервирован великолепно, комната затоплена светом по его приказанию. На столе стояли, между прочим, две вазы с редчайшими букетами цветов.

Ужин, однако, не мог назваться одушевленным. Шарлота Федоровна была не то задумчива, не то рассеяна. Лина Карловна не отличалась вообще большою живостью.

Она говорила, как всегда, очень умно, рассудительно и серьезно, стараясь развлечь старичка, который все с беспокойством посматривал на Шарлоту Федоровну.

Раздавался только стук ножей и вилок о тарелки и мерный, несколько монотонный голос Лины Карловны. Самые свечи горели как-то тускло и цветы в вазах опустили головки и начинали вянуть преждевременно.

Что, если б каким-нибудь образом за этим ужином вдруг очутилась Арманс? Я убежден, что с ее появлением все воскресло бы и одушевилось, шампанское заиграло бы сильнее в бокалах, цветы подняли бы головки, свечи загорелись бы ярче, комната огласилась бы криком, песнями и хохотом. Француженки

удивительны в таких случаях!

Когда после ужина почтенный старичок обратился к Шарлоте Федоровне с предложением довести ее, Лина Карловна сказала ему: "Я надеюсь, что вы будете уж так любезны, что и меня довезете. Мы как-нибудь усядемся втроем". Почтенный старичок невольно скорчил гримасу и с недоумением посмотрел на Лину Карловну, которая не хотела заметить этого взгляда...

Квартира Шарлоты Федоровны была ближе, и потому надобно было завести ее первую.

Дорогою все трое молчали; старичок целовал кисть руки Шарлоты Федоровны у самой пуговки перчатки. Карета повернула в ту улицу, в которой жила Шарлота Федоровна.

Шарлота Федоровна с беспокойством выдернула свою руку из руки почтенного старичка и начала глядеть в окно...

— Папаша, милый папаша! — сказала Шарлота Федоровна, — вы на меня не сердитесь, я прошу вас...

Карета подъезжала к дому. Шарлота Федоровна с нетерпеливым волнением опустила

стекло, взглянула наверх и увидела свет в окне своей маленькой гостиной... "Саша приехал! Саша здесь!" — промелькнула у нее мысль. Ее предчувствие сбылось.

— Я не могу, — продолжала она, — не могу сегодня... Клянусь, не могу!.. Лина скажет вам почему... не браните меня.

Карета остановилась в это мгновение — и Шарлота Федоровна так быстро выскочила из кареты, так быстро исчезла в дверях подъезда, что почтенный старичок не скоро мог опомниться. Лина Карловна высунулась из окна и закричала кучеру, чтобы он ехал к ней. Карета двинулась.

Все очаровательные фантазии старичка вдруг разрушились. Вся идиллия, придуманная им заранее, разлетелась в прах: поднесение корзины с вещами и ломбардными билетами, лес камелий, через которые они должны были проходить, — все эти сюрпризы, от которых, конечно, Шарлота Федоровна должна была прийти в восторг; наслаждение этим восторгом, когда она при нем стала бы рассматривать эти вещи, ее благодарность, ее нежные взгляды на него, — все, все исчезло,

как сон...

Почтенный старичок вдруг очнулся, терзаемый гневом и отчаянием.

— Что же это все значит? — сказал он задыхающимся голосом, обращаясь к Лине Карловне. — Разве так поступают с порядочными людьми? Это гадко, подло... я не позволю вертеть собой, как пешкой... я...

— Успокойтесь и выслушайте меня, будьте рассудительным, — произнесла Лина Карловна своим кротким и убедительным голосом.

— Но нельзя же так поступать... Надо знать совесть, стыд; она водит меня больше года...

— Любите ли вы ее или нет? — перебила его Лина Карловна...

— Люблю ли я ее! — вскрикнул он, разрывая перчатки и бросая их, — я с ума схожу, я умираю от любви к ней... У меня жена, дети, я отец семейства — и для нее я забыл все; я компрометирую себя, я не щажу для нее ничего... Люблю ли я ее!.. А она смеется надо мной!

— Прекрасно. Если вы любите ее, так выслушайте меня и будьте рассудительны. Она

вас не обманывает, она не смеется над вами, — за это я вам отвечаю, а я в жизнь свою еще никому не сказала неправды. Знаете ли, что она борется между долгом к своему покровителю и расположением к вам? Мы все обязаны исполнять наш долг. Это первое. Положим, она не любит его, но она всем ему обязана и она чувствует это.

Это ее убивает; она сегодня целый день проплакала у меня. Она говорит, что она должна вести себя так, чтобы он не имел права ни в чем упрекать ее. Если вы любите ее, вы должны оценить в ней эти похвальные, прекрасные черты.

Благодарность показывает хорошее сердце. Сегодня она особенно расстроена, потому что получила от него письмо... Но это пройдет, она обдумает все и поймет, что вам она обязана такую же благодарностью. Я ей повторяю это беспрестанно; она, впрочем, сама это чувствует. Она имеет к вам, я вам скажу, даже какую-то особенную нежность... Успокойтесь, ради бога, мой добрый друг! — прибавила Лина Карловна в заключение, пожав с участием руку старичка, — будьте рассуди-

тельны.

Слова эти действительно произвели на него успокаивающее действие, и он нашел, что чувства благодарности Шарлоты Федоровны к своему покровителю точно делают ей величайшую честь, а самолюбие заставляло его верить, что Шарлота Федоровна питает к нему особенную нежность, но все еще какое-то неопределенное сомнение тревожило его.

— А князь Езерский? — спросил он, повернувшись к Лине Карловне всем туловищем.

— Об этом и говорить не стоит. Это увлечение в ней совсем прошло; к тому же его теперь нет в Петербурге и она совсем забыла об нем.

Когда карета подъехала к дому, где жила Лина Карловна, она еще раз взяла его за руку и своим вкрадчивым голосом сказала:

— Не сердитесь на нее, не показывайте ей, что вы огорчены. Это ее ужасно расстроит, — я знаю. Дело ваше будет устроено — и скоро — в этом я вам отвечаю, а я никогда напрасно не говорю... Слушайте только во всем меня.

Потерпите немного и будьте рассудительны.

Почтенный старичок расцеловал ручки Лины Карловны и простился с нею...

Когда Шарлота Федоровна выскочила из кареты, она так нетерпеливо дернула ручку звонка, что все люди в доме всполошились.

— Кто здесь? — спросила она у лакея. — Отчего огонь наверху?

— Вас дожидаются князь Александр Кириллыч, — отвечал человек, — они уже больше часа здесь...

Шарлота Федоровна сбросила с себя салоп и взбежала наверх с биением сердца и, запыхавшись, бросилась на шею своему Саше.

Князь холодно прикоснулся к ее лбу и спросил:

— Откуда так поздно?

Князь уже успел после приезда видаться с некоторыми своими приятелями, которые передали ему, разумеется, с преувеличениями, все похождения его возлюбленной. К тому же князь, начинавший в это время ухаживать за одной знаменитой певицей, искал, кажется, только предлога, чтобы расстаться с Шарло-

той.

— Я была у Лины, — отвечала Шарлота Федоровна, нимало не задумавшись, — она, бедная, нездорова... Ах, как я рада тебя видеть, Саша!.. Мое сердце предчувствовало, что ты сегодня приедешь!..

— В самом деле, — перебил князь, — я вижу по всему, что ты ждала меня.

— Да что с тобой, Саша? Полтора месяца не видал меня и хоть бы сколько-нибудь обрадовался мне!.. — жалобным голосом простонала Шарлота Федоровна...

— Что, ты замуж выходишь? — спросил князь, не обращая внимания на ее слова.

— Ты с ума сошел!.. Что с тобой?..

Князь взял со стола свечу и пригласил с собою Шарлоту Федоровну в большую гостиную, которая была решительно превращена в сад, и подвел ее к столу, стоявшему посредине комнаты, заваленному различными книжками в раззолоченных переплетах, на которых поставлена была корзинка, убранная цветами и лентами.

— Это что такое? — спросил он. — Кто этот счастливец, который на тебе женится?

Шарлота Федоровна поняла, что лес камелий и эта корзинка — сюрпризы почтенного старичка... Ей смертельно захотелось открыть корзинку и посмотреть, что в ней, но она удержалась и произнесла с гримасой:

— Я и не знаю, что это такое... Это глупости, о которых я и не подозревала. Я уверена, что это прислал мне этот поганый старичишка (она назвала фамилию почтенного старичка, занимавшегося золотыми промыслами); он мне надоел с своими подарками — и я завтра же отошлю ему все это назад.

— Ты лжешь, — сказал князь, приподнимая крышку корзинки, вытаскивая оттуда поодиночке браслеты, брошки и проч. и бросая их, — такие вещи не дарят так, даром, и ты не отошлешь их...

Князь дорылся до ломбардных билетов, взглянул на них, показал ей и спросил, засмеявшись:

— И это тоже так?.. Он все это посылает тебе только за одни твои прекрасные глазки? Ты лжешь нагло. Это противно. Я знаю все твои проделки, ты меня не обманешь...

Князь вышел из себя, несмотря на свою

утонченную деликатность, и наговорил тысячу разных оскорблений бедной Шарлоте Федоровне.

Она молчала. Она стояла несколько минут бледная, как смерть, не шевелясь, и вдруг схватила себя за голову, зарыдала и упала на стул.

Князь холодно произнес:

— Пожалуйста, без сцен. Это напрасно.

И вышел из комнаты.

Шарлота Федоровна с криком: "Саша! Саша! выслушай меня!" бросилась за ним, но князь уже сбежал вниз. Она несколько времени простояла на одном месте с помутившимися и остолбеневшими глазами, потом вдруг начала судорожно дергать шнурок звонка и кричать: "Дайте мне салоп и шляпку... Извозчика!.. (Она хотела догонять его.) Скорей, скорей!" Горничная в испуге прибежала на этот крик... Но Шарлота Федоровна так ослабела, что упала на руки горничной почти без памяти. Ее кое-как раздели и уложили.

На следующее утро она встала очень бледная и расстроенная, что не помешало, однако, ей рассмотреть в подробности все вещи, при-

сланные почтенным старичком, и спрятать в шкатулку ломбардные билеты. Это занятие несколько развлекло ее — и она велела закладывать коляску, чтобы проехаться.

В этот же день она получила от князя очень вежливое и сухое письмо. Он извинялся, что оскорбил ее, не имея на то никакого права, и вместе с этим посылал ей три тысячи рублей. Мысль, что он был Артюром этой женщины, не давала покоя его великосветскому самолюбию, и посылкою этих трех тысяч рублей он думал расквитаться с нею и несколько успокоить себя. Шарлота Федоровна тот час же отослала ему назад эти деньги при следующей записке, которую она сама кое-как нацарапала: "Я не ждала это от вас. После этого все между нами кончено, а я любила вас и не продавала вам себя, — денег ваших мне не нужно".

Две недели после этого она была неутешна, плакала и жаловалась на судьбу и не виделась ни с кем, кроме Лины Карловны. Через две недели она начала опять показываться в публике и принимать к себе почтенного старичка, занимающегося золотыми промысла-

ми... Через полтора месяца она совсем утешилась и свела, говорят, очень короткую приятельницу с каким-то знаменитым приезжим артистом. Артист этот поступил на очистившуюся вакансию Артюра.

Вот что такое Шарлота Федоровна, распорядившаяся пикником в Лесном институте в среду на масленице. Она, как видно, процветает до сей минуты и окружена толпою поклонников.

Примечания

См. "Русскую беседу", книга П. Биография, стр. 80

[^^^]